

Роберт  
Балакшин

# И в жизнь вечную...

■ Повести, рассказы

Издательство  
Сретенского монастыря  
Москва 2007

# Родной город

## Вместо предисловия



Города, как и люди, имеют свои дни рождения. У одних они документально зафиксированы в государственных актах, истоки других — в сказаниях и легендах, след которых теряется в темной дали веков. А наша родная Вологда ведет отсчет своего исторического бытия с сентябрьского дня (19.08/1.09) 1147 года, когда на берег реки Вологды после многомесячных странствий пришел Киево-Печерский инок Герасим. Увидев здесь небольшое поселение, он срубил невдалеке от него келью, «прорицая ту быти граду великому, и святей церкви воздвигнутия, и святителем водворитися» (из тропаря преподобному Герасиму).

Конечно, преподобного Герасима привела на вологодские берега непостижимая воля Господня. Если человек не появляется на белый свет без Промысла Божьего о нем, то что говорить о городах, которые люди населяют? Вблизи того места, где был погребен

первочеловек Адам, основался святой град Иерусалим; на семи холмах в долине Тибра воздвигся владыка мира — имперский Рим, а в центре среднерусской равнины зародилась и расцвела могучим древом дорогая каждому русскому человеку Москва. Так и здесь, в дремучих северных лесах, для высокой и завидной судьбы возник чудо-город с певучим, протяжным именем — Вологда. Многое услышится в этом имени чуткому уху и любящему сердцу: и накатный плавный бег речной волны, и долгий вздох таежного бора под упругим порывом ветра.

В глухих таежных чащобах проезжие дороги были редки, наиболее удобным и безопасным путем являлись реки, и стоявшая на реке Вологда была как бы воротами в неизведанные северодвинские края, за которыми лежал Урал с иными народами, обитавшими там, с залежами железной руды и драгоценных камней — самоцветов. Поэтому за право обладания Вологдой шла многолетняя упорная борьба между удачливыми новгородскими ушкуйниками, давно проторившими сюда пути, и молодым Московским княжеством, год от года набиравшим державную силу. С XV века Вологда — удел московских князей, верный и надежный оплот белокаменной столицы, собирающейся вокруг себя Русь.

Напоминанием о былом родстве с Новгородом служит нам церковь Варлаамия Хутынского, единственная в городе носящая имя новгородского святого. Многие другие храмы (главным образом приделы в них) поименованы в честь ростовских и московских святых —

Леонтия Ростовского, Сергия Радонежского, митрополита Алексия и других.

В эту пору Вологда видела князя Дмитрия Шемяку, великих князей Василия Темного, Ивана III. По-разному приходили князья в Вологду: бывало, с добром, а случалось, и с лихом, и тогда жгли, грабили и разоряли город. Но чаще приезжали на богомолье и по различным государственным нуждам. Город рос, строился. В будние дни слышался стук плотничих топоров и молотков каменщиков, удары кувалд в кузницах и корабельные команды на реке. А в ярмарочные и воскресные дни торжища и улицы города кипели смехом и песнями, праздничным говором. Бурлила переменчивая, созидательная жизнь. От тех лет до нас не дошло ни одного храма, ни одного жилого дома, только иконы, старинные книги да предметы быта в музее безмолвно повествуют нам о минувшем времени.

Неоднократно наведывался в Вологду и подолгу жил здесь первый русский царь — Иван Васильевич IV Грозный. С его славным именем связана постройка Софийского собора — драгоценнейшей жемчужины Вологды. Ничто в городе не может сравниться с этим белым, как лебединое крыло, собором, одинаково прекрасным в зимнюю стужу и в меланхолично-задумчивый осенний день, в мечтательную белую ночь и в майское лучезарное утро. Находясь в разлуке с отчим домом, вспоминаешь в чужих краях двор, где вырос, семью, друзей и обязательно — Софию, как утешительный символ вечности

города, как залог того, что ты вернешься в родные места.

В Смутное время Вологду потрясли трагические события. Поляки, воспользовавшись оплошностью вое-вод, внезапно овладели городом. В пору княжеских междоусобиц тоже бывало разное, жизнь омрачалась бесчинствами и грабежами, и все же сознание, что перед тобой свои, русские люди, удерживало иной раз разгневанную руку от крайнего злодейства. Но что могло остановить иноземных врагов? Со страниц летописей и житий святых до нас доносится ужас происходившего. В те дни был замучен поляками святой старец Галактион, ценой своей жизни спасший дочь от насильников, а позже в трапезной Спасо-Прилуцкого монастыря приняли огненную смерть страдальцы-монахи.

С воцарением на престоле династии Романовых мир и покой снизошли на русскую землю. Вологда окончательно утвердила в числе наиболее крупных городов державы Российской. Послы европейских государств проезжали через нее и останавливались в ней, иностранные купцы населяли целую слободу в городе (в районе теперешней Фрязиновской улицы). Случались в городе пожары, когда выгорали целые улицы, но город отстраивался заново. В 1655 году Вологду поразило моровое поветрие (эпидемия чумы), и горожане во избавление от несчастья по обету построили за ночь Спасо-Обыденную церковь, одну из немногих обыденных церквей на Руси. К сожалению, потомки, утратившие ро-

довую память, помраченные разумом, не сберегли ее, редкостная святыня была разрушена уже в наши дни.

На рубеже XVII–XVIII столетий неутомимый царь Петр I, исколесивший, пожалуй, пол-России, пять раз посетил наш город. Хлопот и трудов было не счесть: восстановление и перевооружение армии после Нарвского разгресма, усиление Архангельской крепости, которую пытались захватить шведы, учреждение навигацких школ, открытие типографий.

С основанием Санкт-Петербурга значение Вологды как торгово-хозяйственного центра понизилось, что во-все не значит, будто жизнь в ней стала унылой, застойной, провинциальной в уничижительном смысле этого слова. Привыкнув измерять жизнь экономическим аршином, мы считаем: чем больше фабрик и заводов в городе, чем выше товарооборот пристани и купеческих контор, тем богаче, интересней и содержательней в нем жизнь. Однако куда выше ценностей, производимых фабричным, заводским трудом, ценности духовные, а им удобнее созревать и произрастать в тишине. В городе и в XVIII веке строились красивые храмы и дома, писались книги, в гимназии учились дети, многие из которых впоследствии прославили Отечество на ратном поле, на поприще науки и медицины, литературы и искусства. В тишине провинциального города проникновенней творится молитва, чище и естественней чувства, устойчивей быт. В провинции, в несуетной жизни захолустных городков, рядом с деревней, с земледельческим, почвенным трудом созидался

наш русский характер, в котором наряду с беспечностью и разгульной открытостью души подспудно присутствует тяжеловатая, патриархальная основательность, та твердость и непреклонность верований, убеждений и привычек, которые выручают русского человека в самые трудные моменты его жизни. Отсюда его немногословная, но стойкая любовь к Отечеству, неутомимость в труде и неприхотливость в повседневной жизни, здоровое недоверие к иностранцам как к людям, неспособным понять нас, и потому упование на свои, народные силы, а не на помочь со стороны.

Когда на нашу землю хлынуло французское нашествие, Вологда была глубоким, прочным тылом Действующей армии. В Спасо-Прилуцком монастыре хранились сокровища Московских соборов и Троице-Сергиевой лавры. Величайшие святыни Отечества, доселе находившиеся в отдалении друг от друга, чудесным образом на короткое время собрались вместе. Можно сказать, что в те дни Вологда была духовным средоточием всей России.

За год до своей блаженной кончины Вологду посетил император Александр Благословенный. Почти сто лет коронованные особы не посещали город, и поэтому приезд императора оставил глубокий след в губернской жизни. Царя ждали, ему были рады, его встречали и принимали со всей щедрой открытостью гостеприимного сердца. Почетной наградой звучат и поныне слова государя: «Все, мною виденное в Вологде, далеко превзошло мое ожидание».

В XIX веке в городе было построено большинство каменных гражданских зданий, спланированы бульвары, разбиты парки и скверы, сложилась система улиц и дворов. Заборы, отделявшие один двор от другого, способствовали созданию в каждом из них своеобразного, удивительного для постороннего пришельца мира. Эти миры образовывали вселенную города. Та Вологда с ее обликом действительно русского северного города была видна взору во всей полноте милого очарования старины еще каких-то тридцать лет назад. Как грустно и больно думать, что на наших глазах, никого не спросив, невежды городские правители уничтожили это рукотворное чудо.

В XIX веке в Вологде побывало много исторических лиц. Озабоченный подготовкой Великой крестьянской реформы, в 1858 году в город приезжал император Александр Второй Освободитель, позднее великие князья Владимир и Сергей Александровичи, великая княгиня Елизавета Федоровна (ныне прославлена в лице святых), государственные деятели К.Н.Посыт, К.П.Победоносцев, М.И.Хилков, И.К.Григорович, писатели М.П.Погодин, И.Ф.Анненский, И.А.Бунин...

Но наступило время, и над городом взвихрилась революция, пушечной пальбой на Северном фронте загрозила гражданская война. Было все: митинги и революционные песни, красные знамена и субботники, а по ночам (и не только по ночам) обыски, аресты и расстрелы в ЧК. Нет зла и отмстительной досады в душе, но что-то неизбывчиво тлеет в ней. И когда шагаешь благодатной

пасхальной ночью по спящему, милому городу, вдруг по-веет в сердце холодок давней предрасстрельной тоски и горько шепнет нежный голос: зачем, зачем все это было? Зачем убивали их, молодых, сильных красивых офицеров, юнкеров и гимназистов, не меньше нас любивших Россию? О такой ли свободе мечтали в вологодской ссылке Бердяев и Ремизов, вышвырнутые большевиками на чужбину? Гуляя по вологодским улицам, мог ли догадываться Савинков, чем обернется для него борьба с самодержавием? Ах, было, все было, и не приведи Господь, чтобы повторилось вновь. А ведь немногого было нужно, чтобы отвести беду: всего лишь нелицемерно любить и жалеть друг друга, не давать росткам зависти и подлости прорости в душе злой, нужно было любить город, его дома и улицы, деревья и цветы, ведь город — частица нашей души — тоже страдает вместе с нами.

Двадцатые и тридцатые годы справедливо называют тяжелыми годами. Море ненависти, взъяренное революцией, не могло утишиться в одночасье, отсюда подозрительность, доносы, осуждение виновных и страдания невинных. Но было ведь не только это. Были книги и песни, радостный труд и любовь. Люди любили наперекор всему, радовались жизни, мечтали и строили новую жизнь. И как знать, куда бы повернулась она, если бы не 22 июня 1941 года.

С 1613 года война не подходила так близко к городу, а тут надвинулась на него в вое пропеллеров, в грохоте бомб: вражеские самолеты долетали до самой

Вологды. Немецкое командование рассчитывало к зиме 1941 года выйти на линию Архангельск — Сталинград — Астрахань. Что стало бы с нашим городом, осуществились эти планы?

Едва ли красовались бы по-прежнему Софийский собор и Спасо-Прилуцкий монастырь, изысканная Сретенская церковь и величественный храм Николая Угодника во Владычной слободе. Герои, остановившие врага под Москвой, отважные бойцы, отбросившие немцев за Тихвин, защитили Россию, Вологду, тысячи русских городов и деревень. В рядах Красной Армии сражались и сыны вологодской земли. Свыше ста героев Советского Союза дала Вологодчина Родине.

Отгремели залпы победных салютов 1945 года, демобилизованные воины вернулись домой, страна восставала из бездны горя и страданий.

Пятидесятые годы — годы обновления и надежд, время полетов первых искусственных спутников Земли, когда в темные октябрьские вечера толпы вологжан выходили на улицы, высматривая ползущую среди звезд по ночному небосводу крошечную, мерцающую искринку. Город начал широко расти, завершилось строительство льнокомбината, приостановленное войной, на железной дороге появились первые тепловозы, а на реке теплоходы, строились заводы «Электротехмаш» и ГПЗ, реконструировался «Северный коммунар». Наступил расцвет деятельности писательской организации и организаций соратников — художников. Были написаны новые

книги, созданы живописные полотна, театр радовал зрителя интересными постановками. Не забылась, еще свежа в памяти недавняя борьба против переброски северных вод на юг и, кажется, совсем вчера бушевали первые митинги перестроечной поры.

Вологде более восьми веков. Все постепенно меняется в городе, и он сам, и люди. Его история еще ждет своего летописца, своего Карамзина, который опишет родную Вологду вдумчивым, чутким и вдохновенным пером. Все меняется, но одно должно оставаться и остается неизменным — любовь к тому месту, где ты родился, где жили и погребены твои предки, а через любовь к своему городу сильней возгорится, станет живей и теплей любовь к нашей матери — великой России.



На улицах этого города, на просторах его площадей, в загадочной, манящей глубине его переулков, на берегу реки вот уже шесть десятилетий течет моя жизнь.

Грудным младенцем родители привезли меня сюда из деревни Коротыгино, где я родился. Отец, работавший в войну директором совхоза, неизлечимо заболел, стал инвалидом и был вынужден перебраться в город. Раннее мое детство, та захватывающая дух эпоха знакомства с жизнью, прошло во Флотском поселке, окраинном городском уголке, причудливом скоплении са-

раев, домов и бараков, где проживало романтичное и временами буйное и нетрезвое племя водоплавателей-речников: капитанов и штурманов, механиков, кочегаров и матросов, шкиперов, грузчиков, буфетчиков и их детей.

Наш одноэтажный домик, в котором жили еще четыре семьи, выходил торцом на мощеный булыжником Советский проспект. Лошади на проспекте встречались чаще машин. Зимой по нему тянулись длинные обозы с сеном. Мы бегали цеплять за сани, а возчики гоняли нас. Один из них, однажды хлестнув кнутом наотмашь, пребольно ожег меня прямо го лицу. Дома в большой комнате (так принято было ее называть, хотя вся наша квартира была меньше нынешних больших комнат) над комодом в потемневшей от времени раме висел портрет Сталина. Долгое время я думал, что это изображен отец. Этот портрет, старинные часы с боем, вместительный резной буфет, первые книги, которые я любил перелистывать, еще не умея читать, красочные альбомы о военно-морском флоте, посланные дядей из Москвы, мои немудреные игрушки и многое, многое другое: одежда, посуда, белье — все сгорело дотла в пожаре летом 1951 года.

В том деревянном доме я за несколько вечеров с помощью отца выучил азбуку и начал постигать премудрость грамоты. Придя из пароходства, отец вечерами читал мне русские народные сказки, стихи Жуковского и Пушкина, Лермонтова и Некрасова, прозу Гоголя,

басни Крылова. Помнится, как я навзрыд плакал при чтении «Тараса Бульбы». Я многое не понимал в повести, но волшебство слов, сила чувства, таившаяся в них, находила отзыв в нежной и сострадательной детской душе. Видимо, вскоре после этого я вздумал сочинить стихотворение о казаках, едущих по степи. Дальше первой строчки дело не пошло, но та первая попытка творчества отложилась в душе.

Летом мы бегали на реку купаться, залезали, как в пещеры, в щели среди тюков ивовой коры, горой возвышавшихся на берегу, во дворе играли в прятки, в вершки, в лапту, в ножички, сражались на палках, запускали воздушного змея, а ребята постарше, укрывшись за сараями, играли в деньги. Битку отливали из свинца или использовали военную медаль с отломанным ушком. Война, окончившаяся всего пять лет назад, напоминала о себе повсюду: книжками в детском саду, военными песнями в застолье, безногими инвалидами, просившими милостыню на улицах...

Уходить от дома далеко не разрешалось, — но что поставит преграды мальчишескому любопытству? Украдкой мы покидали двор, совершая вылазки к турундаевскому сельпо, к ветке — пристани, ощущая себя первооткрывателями новых земель. И ведь на самом деле для нас они были новыми, неизведанными.

В палисадничке возле нашего дома были вскопаны две грядки, на которых, скорее для моего лакомства, чем для пропитания, сеяли морковку и репу. Тут же отец

посадил акацию, она прижилась, украшаясь по весне желтыми душистыми цветами.

Теперь ничего этого нет — ни дома, ни акации, ни сараев, ни самого Флотского поселка. Он застроен большими каменными домами, и ничто уже не напоминает о его былой сказочной жизни. Я почти не прихожу сюда. Если только забреду случайно. Да, рано или поздно поселок должен был исчезнуть, не ютиться же людям век свой в бараках, но видеть его исчезновение мне печально.

В 1956 году родителям дали квартиру на Содимском переулке. Я был против переезда, но моего согласия не много и спрашивали. А я еще долго бегал в поселок к друзьям-приятелям, и сейчас помню их.

В связи с переездом меня определили в другую школу (нынче здесь институт усовершенствования учителей), где я и совершал свои бесчисленные «подвиги», после которых в школьном дневнике появлялось очередное замечание, а дома меня ждали попреки отца и укоризны матери. Отец с матерью не пороли меня ремнем, не ставили в угол, не дергали за уши и волосы, они очень любили меня, хотя им приходилось со мной не сладко. Я был поздним ребенком, и представляю, каково было отцу в 60 лет переносить сумасбродства четырнадцатилетнего, одержимого фантазиями подростка, неуемного говоруна, забиравшегося по водосточной трубе на балкон второго этажа и с дикими воплями папуаса проносившегося по ~~квартире~~.

Со школьными проказами и забавами, с ненасытным чтением книг, с влюбленностями в девочек — соседок и одноклассниц, с поездками в пионерлагеря, с посещениями судомодельного и театрального кружков в Доме пионеров мчалось, подобного весеннему, шалому потоку, отрочество.

В каникулы мы залезали на крышу дома, загорали и рассматривали город, еще малоэтажный. Там и тут к небу устремлялись кресты церквей и шпили колоколен, разноцветные пространства крыш перемежались зелеными островами деревьев в парках. Спустившись вниз, босые, в сплетенных из бумаги тюбетейках или в панамах, мы пускались в дальние странствия. Пирс на берегу реки, пруд и огромный склад СУХУРПа за Петропавловской церковью, старая мельница на берегу Золотухи, сортировочная горка на железнодорожных путях — все притягивало своей необычностью, возможностью приключения.

А приключения бывали не только сухопутные.

Прежде на месте Дома мебели и далеко за ним находилась обширная глубокая котловина, по весне заполнявшаяся водой из разливавшегося Шограша. Кто теперь поверит в это? Скажут — басня, сон, а сон этот был явью: перед нашими домами, где тогда жило столько веселых и задорных парней и девчонок, возникало огромное, широкое озеро. На лодке, построенной Гошой Петровым (вечная ему память!), по протокам Шограша скользя над покрытыми прозрачной

толщей воды зелеными лугами, мы выходили в реку Вологду.

Шограш возвращался в свои берега, а высохшее дно озера раскапывали под огороды. Эта низина была одним из плодородных мест города. Здесь снимали богатейшие урожаи картошки и моркови, огурцов и лука. Промысел огородничества издавна процветал в Вологде, и когда городские огороды оказались наглухо покрыты асфальтовой корой новых дворов, люди стали объединяться в садоводческие кооперативы, — как же русскому человеку жить без земли? Сколько раз росистой августовской ночью, возвращаясь с танцев, я захаживал на этот огород, чтобы перекусить дармовым хрустящим огурцом или сочной морковиной.

Деревянный двухэтажный дом на Содимке жив-здоров до сего дня. Как многое помнит он! Сюда почтальон приносил мне письма от зарубежных друзей (переписка с социалистическими братскими странами, одна из светлых замет того времени), здесь летом 1959-го во мне вновь вспыхнул огонек творчества. Я решил написать фантастический роман о полете людей на Солнце. Про полеты на Марс, Венеру и даже Юпитер я читал у многих фантастов, а на Солнце — еще ни у кого. Я писал роман усердно, дня два или три, а может, и целую неделю, люди у меня на Солнце прилетели, а что с ними стало потом, уже и не вспомнишь: разрозненные листки с текстом «романа» затерялись. Повесть о пиратах я принялся писать в общей тетради, поэтому она уцелела.

Каким-то образом мне было известно, что настоящие писатели правят рукописи, и сейчас — по прошествии стольких лет! — трогательно видеть тетрадные страницы, исчерканные рукой подростка, с переносами и заменами слов, с пометками на полях о дальнейшем развитии действия. Это была еще игра, правда, уже похожая на подлинную жизнь. И все же — игра; писательский труд требует волевого усилия, терпения. Но легко ли усидеть за столом, когда в дверь квартиры ломятся друзья, зовут ехать на велосипедах в Молочное?

Сюда, в этот дом, зимним метельным вечером я пришел потрясенный до глубины души. Я с детства любил петь и не пел, пожалуй, только когда спал. Но ни одна песня не шла в сравнение с тем, что я увидел в тот вечер в кино. В темной пустоте кинозала меня захватила и понесла могучая стихия музыки. На экране перед моим завороженным взором разворачивалась горестная, трагическая история любви Германа и Лизы. Несколько дней я не слышал ничего, кроме запомнившихся, летучих отрывков из оперы. И без того легко возбудимый, я был настолько взволнован, что не мог спать. Герман и Лиза, Елецкий, страшная графиня живыми стояли передо мной.

Гениальная опера П.И.Чайковского сказала мне, тогда еще не задумывавшемуся о будущей жизни, о высоте истинного искусства, к которой должен стремиться художник. Необходимо будить в душе наивысшую музыку чувства и мысли, лишь тогда придут, засветятся, зазвучат единственно верные, живые слова.

А ведь и по сей день сочиняется тьма рассказов, повестей, романов из холодных, глухих, так и не оживших в сердце писателя полумертвых слов.

Иногда мне думается, что если бы я не увидел «Пиковую даму», я не стал бы писателем.

В нашей жизни переплетены «поэзия и правда». В детстве жизнь является ребенку в радостном ореоле новизны и познаваемой тайны. В отрочестве и далее — в юности — порывами остужающего ветра приходит понимание, что бок о бок с поэзией существует суровая правда. Прелест и драматизм ранней юности в этом зыбко-опасном равновесии: то, что подростку привычно видится детской забавой, простительным баловством, для неопытного, доверчивого юноши может обернуться бедой. Блажен, кто благополучно, без жестоких душевых утрат прошел по этой грани, вдвойне блажен тот, кто и во взрослой жизни сберег огоньки поэзии детства.

Все явственней приближалась взрослая жизнь и ко мне. В 1960 году я поступил в строительный техникум, находившийся тогда на Советском проспекте. Зачем я сделал это — не знаю, должно быть, за компанию с друзьями, ибо к сопромату, статике сооружений у меня не было ни малейшего влечения. Но поступил и сдал по всем этим предметам экзамены, мучился с курсовыми проектами. Почти ничего не осталось в памяти от тех лет, словно ветер продул ее насквозь. Помнятся лица друзей, преподавателей да осенью поездки в колхоз. На втором курсе нас послали в Нюксенский район,

в деревню Красавино, раскинувшуюся на обрывистом, грандиозном берегу Сухоны. Днем мы дергали лен, копали картошку, возили тары с молоком на маслозавод и таскали в овин мешки с зерном, а после работы, хохоча и толкаясь, «рубились» на поскотине в футбол без правил. Вечером же, отчистив от налипшей грязи сапоги, уставшие, поужинав молоком с черным хлебом, при свете керосиновой лампы слушали радиопередачи о Робертино Лоретти.

В те годы доживал своей век, основательно покореженный колхозным устройством, коренной быт русской деревни с его привычкой к труду, грубоватой добротой и молчаливым перенесением тягот и лишений. Мы, горожане, дивились крестьянской жизни, не помня, что наши родители и деды были вчера крестьянами, подсмеивались над ней, а она находила отклик в родственных ей юных душах. Несомненно, во многом благодаря тем поездкам в деревню десятилетия спустя я начал вдруг задумываться о себе как о русском, по капле выдавливая из себя безлиное, интернациональное, в массовом порядке прививавшееся всем нам.

Между тем наступила зима 1964 года. Мы сдавали выпускные экзамены, защищали дипломы, а в карманах у нас уже лежали повестки из военкомата.

Армия решительно переменила меня. Резко вырванный из уютного мирка любивших меня и маявшихся со мною родителей, из веселого окружения беззаботных, таких же, как я, шалопаев-друзей, я оказался

безжалостно брошен в пучину солдатской жизни, с ее приказами и командами, бесконечными построениями, с нелепой строевой подготовкой, с громовым пением в строю посреди бела дня, с подъемами и отбоями, с мучительной тоской по дому... Оглушенный, ошарашенный всем происходившим вокруг меня, я замкнулся в себе, отгораживаясь от этого непонятного и пока никак не умевшегося в моем сознании мира. Поневоле исполнив все требовавшееся от меня, я жил своей, скрытой от всех душевной жизнью. Именно в армии я задумался о себе, пристальней и серьезней глядываясь в прошедшую жизнь. До сих пор жизнь моя текла ровным, естественным ходом. Из детства вырастало отрочество, его сменила юность. Армия разорвала эту последовательность. Было очевидно, что когда-то и армия останется в прошлом. А что дальше? Вспоминая юность, похождения на танцы, хулиганские приключения, я трезво увидел, что так можно прошляться ведь и всю жизнь, когда день привычно цепляется за день, год за год, и... неужели я для этого родился на свет?

Разумеется, процесс самовоспитания очень длинен и сложен (разжаловали же меня за что-то из сержантов в рядовые), на этом пути воодушевляющие подъемы чередуются с унылой последовательностью буден и падениями, но я глубоко благодарен армии за тот сильный, вразумляющий толчок, который она дала мне.

Именно в армии смутное желание писать, творить стало для меня ясной целью. До армии я никем не хотел

быть, жил бездумной, растительной жизнью. В Риге, в полковых казармах на улице Гаус, в летнем лагере школы сержантов, в окрестностях светлой, милой Валмиеры во мне родился писатель. Я стал вести дневник, записывая в него картины природы, случаи из армейской жизни с диалогами и портретными зарисовками сослуживцев. Я снова вернулся к чтению. В части была замечательная библиотека, и я, фактически заново, читал Толстого и Тургенева, Гоголя и Пушкина, Блока, Фета, а также Лондона, Хемингуэя, Гомикаву...

С таким душевным настроем в 1967 году я вернулся в мой город, чтобы не разлучаться с ним больше никогда. Все три года службы он незримо был со мной. Я помнил о нем, мечтал вернуться, в письмах матери и отца, друзей и подруг я слышал его голос и знал, что он тоже ждет меня.

После армии я работал в управлении культуры, трудился бетонщиком на домостроительном комбинате, землекопом, каменщиком-трубокладом, обмуровщиком котлов, дворником, ночным сторожем, был актером самодеятельного народного ТЮЗа.

В 1969 году мне дали квартиру в старом деревянном доме на улице Калинина, где мы прожили с женой семнадцать счастливейших лет! В этом доме прошли многие заветные часы и дни моей жизни, и, умирая, я буду вспоминать комнату, из которой был виден храм Андрея Первозванного, — там я написал свой первый рассказ. В том доме выросли и воспитывались наши

дети, а сколько замечательных людей побывало в моей просторной, с таинственным полусумраком комнате, в которую никогда не заглядывало солнце!

Если что-то действительно любишь, оно никогда не надоест, от него не устанешь, и в благодарность за твою любовь оно воздаст тебе в полной мере. Вологда была и остается для меня средоточием мира, и потому я не люблю никуда ездить. Здесь, в Вологде, для меня Святая Земля и Троице-Сергиева лавра, Рим и Ваймар, Александрия, куда прибыл в погоне за Помпеем Цезарь, и Париж, где умирает бедная Виолетта. Здесь для меня поле Фарсала и Бородина, здесь Лиза у окна читает письмо Германна, здесь Вернер Хольт идет ранним утром по пляжу с Марией Крюгер, а старец Гете встречается с подругой юности Шарлоттой Буфф, здесь раненый Алексей Турбин убегает от петлюровцев, а шмелевский Сережа слушает рассказы доброго Горкина, здесь Бернар де Мержи убивает на дуэли Коменя, а каторжник Провис выплывает на середину Темзы...

В детские годы я открывал город как родную, но незнакомую мне страну, теперь я стремлюсь познать его в истории. Приходя в минуты раздумья к Софии или шагая зимой по замерзшей реке, перелистывая старые газеты в областной библиотеке или открывая архивные дела, я вспоминаю тех людей, которые построили для нас этот город, кто писал здесь книги и картины, создавал научные труды и ставил спектакли, кто пал за нас на

полях сражений, кто молился о нас в давние годы и молится нынче, молитвой освящая и укрепляя нашу жизнь.

Я вспоминаю живших со мною и ныне живущих добрых людей, которым я обязан столь многим. Гете сказал, что писатель (как, впрочем, и любой человек) существо коллективное, в каждом из нас соединены воли, вложены пожелания, мечты и труды многих людей. Первыми в этом ряду стоят мои любимые родители — Александр Иванович и Мария Ивановна, бабушка Александра Васильевна, наметившая для меня в далеком детстве тропку в Божий храм, братья Олег и Валерий, сестра Лилия, в скудные послевоенные годы приносившая младшему братишке в гостинец редкую конфету или яблоко. Я с лаской вспоминаю друзей детства, первую учительницу, преподавателей техникума и веселых парней-сокурсников, полковых офицеров и солдат-однополчан, собратьев-писателей, заботливо опекавших меня и принявших в своей дружеский союз. С благодарностью я посвящаю эту книгу своему верному спутнику жизни — жене Людмиле Ивановне.

Пройдут годы. Как это непечально, но все мы уйдем. А город останется. Будут стоять храмы и дома, в струящейся реке будут отражаться облака и звезды, будет бурлить иная, новая жизнь, а над нею, как отлетевшее дыхание, как наши не умершие мечты и думы, по-прежнему будут шуметь высокие, вечные тополя.

# **И в жизнь вечную...**

Повесть

## Глава первая

### Прибытие в город N уполномоченного по борьбе с контрреволюцией



Вечерний мартовский морозец покрыл лужицы стекольно-хрупким белым ледком, а на темной окраине неба зажглась первая яркая, лучистая звезда. И вдалеке, куда к темнеющему ночному горизонту уходили рельсовые пути, тоже появилась крошечная звездочка. Она приближалась, вырастая в слепящий прожекторный глаз бронепоезда. Лишь только его коробчатая бронированная громада замерла у здания вокзала, в боку передней бронеплощадки отворилась стальная дверка и на перрон один за другим стали выпрыгивать красноармейцы. Взбивая коленями длинные полы шинелей, они бежали и становились частой цепочкой у пассажирского вагона первого класса, находившегося в середине состава.

Никанор Петрович, начальник станции, дрожа от озноба, направился к вагону. Окна вагона с их лимонно-желтыми сборчатыми занавесками светились

тихим, домашним светом. Но свет этот не успокаивал душу.

— Кто такой? Чего тут делаешь? — подскочил к Никанору Петровичу мужчина в бекеше, напирал на него, оттесняя к середине перрона.

— Н-начальник станции я, — отступая под натиском, волнуясь, ответил Никанор Петрович.

— Вызывали тебя?

— Нет, т-товарищ.

— Ну и пошел, не трись тут.

Никанор Петрович побрел к вокзалу, мелко крестя грудь между второй и третьей пуговицей форменной шинели, а за спиной его в первоклассном вагоне хлопнула дверь и зычный голос гаркнул вдоль перрона:

— Комендант! Началюгу станционного сюда!

Никанор Петрович, скоро повернувшись, побежал к вагону.

— Я начальник, я.

— Заходи, — махнул рукой стоявший в тамбуре улыбчивый, широкогрудый, в новенькой офицерской гимнастерке верзила.

Никанор Петрович поднялся в тамбур.

— Ручки! — весело скомандовал верзила, сноровисто охлопал поднявшего руки Никанора Петровича, расстегнул шинель, проверил карманы, подмышки, обшарил его со спины, показал большим пальцем на дверь: — Сюда.

Начальник станции поддернул брюки, оправил китель, застегнул шинель, и пока шел коридорчиком, в голове, в холодающем сердцем билось: «Господи, помилуй! Господи, пронеси!»

— Да, да, — глохо послышалось из-за обитой кожей двери.

В комнате у окна за небольшим письменным столом сидел пожилой, сухощавый, примерно одних лет с Никанором Петровичем мужчина с седеющей, расчесанной на пробор головой, с рыжеватой щеточкой усов, с умным и строгим, но нисколько не страшным лицом. На стене над его головой портрет вождя. Всего же сильней начальника станции поразило и как-то смягчило одолевавший его страх то, что мужчина был одет в белую вышитую голубенькими цветочками по вороту, рукавам рубаху. Нежели это и есть грозный уполномоченный, слух о жестокой требовательности которого обгонял его бронепоезд? Разве не он на соседней с N станции приказал расстрелять бригадира ремонтной бригады, на несколько минут задержавшего отправление бронепоезда?

— Начальник станции? — с легкой барственной хрипинкой в голосе сказал мужчина. — Быстро нашлись. Похвально. Садитесь, милости прошу.

Никанор Петрович примостился на краешке стула.

— С кем имею честь?

Начальник станции назвал себя.

— А моя фамилия — Гедров, товарищ Гедров, — представился мужчина, строго кольнул собеседника

взглядом светло-карих глаз. — Итак, уважаемый Никонор Петрович, отныне мы с вами будем сотрудничать. Мои условия сотрудничества: дважды распоряжений не отдаю, оговорок не принимаю, любой мой приказ должен быть исполнен точно и в срок. Если принимаете эти условия, неприятностей у вас не будет. В противном случае — не взыщите. Время военное, суровое. Так что, — принимаете?

— Принимаю, — отяжелевшим, глиняным языком пробормотал Никонор Петрович.

— На это я и рассчитывал. — Гедров помешал ложечкой в стакане, перехватил взгляд Никонора Петровича, сказал негромко: — Еще чай.

В стене за его спиной распахнулась дверь, и молодой человек в военной форме, почти мальчик, поставил с подноса на свободный угол стола стакан чая, хрустальную сахарницу и тарелку с бутербродами.

Никонор Петрович сглотнул голодную слюнку; приободрившись, подвинулся до половины сиденья стула.

— Смотрите внимательно. — Гедров взял серебряный подстаканник, отпил глоток и на плане станционных путей, лежавшем перед ним, обвел карандашом глухую отдаленную ветку. — Этот тупик свободен?

— Забит до отказа. Поезда, товарищ Гедров, сами знаете, дальше на север не идут, все у нас копятся.

— Сколько понадобится времени, чтобы освободить тупик?

— Часов... — Никанор Петрович покосился на бутерброды, на мелко колотый сахар, — часов пять?

— Сколько?

— Часов... часа четыре.

— Даю вам три часа. Тупик освободить, мой поезд поставить туда. Что ж вы не пьете чай? Не стесняйтесь, пейте.

Поедая досадно тонкие ломтики бутербродов и запивая их горячим, ароматным, настоящим чаем, Никанор Петрович осторожно отвечал на испытующе-подробные вопросы Гедрова о городской жизни, мучимый одной мыслью: как бы разжиться хоть одним кусочком сахара?

Но хозяин вагона, положив руки на стол, как прилежный ученик на уроке, не сводя глаз с Никанора Петровича, внимательно слушал его.

— Что же, благодарю за сведения, — наконец-то, завершая беседу, сказал Гедров и склонился к нижнему ящику стола.

Никанор Петрович склонул щепотью кусок рафинада из сахарницы. Гедров резко выпрямился на его движение, остановил метнувшийся взгляд на руке Никанора Петровича.

— Что там у вас? — громко спросил он. Дверь за его спиной приотворилась.

Никанору Петровичу, уже державшему руку у кармана, выронить бы сахар, и сукно, устилавшее пол вагона, погасило бы звук, но ужас омрачил рассудок

старого железнодорожника, он поднял руку, показывая похищенное.

— В-в-внука... простите, ради... пять лет... первый раз... — лепетал Никанор Петрович, а сам уже видел, как его волокут из вагона, как швыряют...

— Церковь посещаете? — обрывая мычащий лепет, сухо спросил Гедров.

Черным ветром махнуло в голове начальника станции: «Нет!», а губы шепнули:

— Да.

— Восьмую заповедь помните?

Гедров выдернул из-под стопы документов чистый лист писчей бумаги, свернул воронкой кулек, высыпал в него содержимое сахарницы. Холодно взглянув на исхудалого старика, сложил один на другой оставшиеся бутерброды, завернул их в лист бумаги.

— Берите! — приказал он, сдунул с края стола осевшую сахарную пыль. — Итак, через три часа тупик свободен. Персонально на вас возлагаю обязанность бесперебойного обеспечения поезда углем, водой и прочим. Каждое утро в 6.30 делаете мне максимально сжатый, исчерпывающий доклад о положении дел на станции, доносите о всех случаях лени, неповиновения, контрреволюционной агитации. — Гедров провожал Никанора Петровича к дверям. — И не верьте нелепым слухам, которые обо мне распространяют враги революции. Наши с вами враги. С ними я строг, порою строг чрезвычайно, но друзья молодой советской власти все-

гда найдут во мне товарища и старшего друга. Передайте это вашим родственникам, знакомым...

Запинаясь во тьме о шпалы, прижимая к груди кульки с так неожиданно доставшимися гостинцами для внучки, Никанор Петрович торопился в тупик — три часа уже начали свой роковой отсчет.

## Глава вторая

### Город N и его обитатели

■ N был одним из многих дореволюционных похожих друг на друга губернских городов. С древним кафедральным собором и колокольней, возвышившей свою золоченую главу над всеми колокольнями, колоколенками и звонницами епархии, с трехцветным флагом на губернаторском доме и часовым солдатом в будке, с главной Плацпарадной площадью, по соседству с которой раскинула свои угодья более многолюдная, шумная и неопрятная площадь Торговая, с булыжной мостовой в центре и пыльными проселками на окраинах, с рекой, делившей город пополам.

Все, что издревле происходило на Святой Руси, отзывалось и в N. Пережил он княжеские междоусобные свары, претерпел наезды ханских баскаков, ревмя ревели бабы и молодицы, провожая своих мужиков и суженых на кроволитное побоище с агарянским князем Мамаем; приезжал в N с опричной свитой грозный

царь-государь, топтали городские мостовые копытами своих по-польски кованых коней горделивые, заносчивые паны...

Летучими снежинками, золотой листопадной поземкой пролетали над N годы, твердой поступью за веком шествовал век. Растаяла лежавшая на народной груди льдина крепостного права, по чугунным рельсам во все концы матушки-России покатились копотные, пыхтящие паровозы, и, словно вдогонку им, заспешила, заторопилась и сама жизнь в суете народившихся новых интересов, мыслей и дел. Все чаще, сначала тайно, на дружеских вечеринках, в уединенных уголках пригородных рощ, стали слышны слова о свободе, равенстве и братстве. И хотя люди не могли объяснить точно и ясно, что такое — и свобода, и равенство, и братство, но слова эти так волновали слух и пламенили сердца, что верилось: стоит за ними что-то новое, несомненно счастливое.

Вскоре в N залетными, диковинными птицами замелькали листовки: то наспех, воровски наклеенные на забор, то дерзко пущенные с галерки городского театра в темный подвал партера, то разбросанные ночью по городскому рынку, то подкинутые в приемную самого губернатора.

И настал тот день, когда впервые за историю города не для крестного хода, не для молебствия о даровании победы благочестивому императору на враги и супостаты, но для неслыханной от века демонстрации скопилась на улице, разрослась слепым тысячеголовым

телом толпа и тесно двинулась по узкой уличке к дому губернатора. У Плацпарадной площади путь ей загородили две струнки солдатских шеренг. Поднялись и легли к плечам солдат винтовки и поверх людского скопища — один за другим — хлестнули залпы. Толпа попятилась, ручейками хлынула в переулки, и упал на землю пожарно полыхавший над толпой красный флаг.

Еще с месяц было тревожно в городе и уезде. В городе была решительно пресечена попытка еврейского погрома, обнаружены и ликвидированы подпольная типография, мастерская по изготовлению метательных бомб и склад оружия. Двое неизвестных пытались проникнуть в губернаторский дворец, но один из них был убит в перестрелке с охраной, а другого зарубил шашкой казак из губернаторского конвоя. В уезде разграбили и сожгли несколько поместичьих усадеб, в одной из которых были зверски истерзаны не успевшие скрыться две девушки. Насильников схватили в тот же день. Около месяца длилось следствие, потом был суд. На суде либерал-защитник в многочасовой речи убеждал присяжных быть снисходительными к его подзащитным, видеть в их деянии не проступок конкретных лиц, а олицетворение народного гнева, народной совести, рвущейся из-под гнета невыносимых общественных условий к свету. Однако преступление было настолько вопиющим по своей безнравственности, что присяжные признали подсудимых виновными, суд приговорил их к смертной казни, и зимним морозным

утром, когда так хочется жить, палач повесил их во дворе губернской тюрьмы.

Так завершилась в Н первая революция. Жизнь снова потекла по привычному, вековому руслу.

Как встарь, по воскресным и праздничным дням город полнился раздольным говором колоколов и после обедни одна половина города с подарками и поздравлениями шла в гости к другой. Окраины в эти дни допоздна звенели удалимы пьяными гармонями, в солидных особняках звучали благородные рояль и виолончель, а в домах средней руки крутился диск граммофона и какая-нибудь мамзель Жаннет страстно визжала о любви его превосходительства к озорной шансонетке.

Летом городские сады и палисадники у домов захлестывала душистая кипень сирени и цветущих яблонь. В кустах гремели, свистели, томно прищелкивали соловьи. И хорошо было присесть с любимой подругой на лавочку в городском саду, слушать соловьев, следить, как мерцают, медленно разгораются и внезапно тонут в темной глуби клумбы таинственные огни светляков.

Зимой к городу со всех сторон тянулись обозы, сиреневым бором стояли дымы из труб, снег перед Рождеством все так же блестел хрустальными звездами и на тридцатисаженной вышине добропобедно сиял в месячном свете золотой крест епархиальной колокольни.

В двух городских монастырях и полусотне приходских церквей у чудотворных намоленных икон теплились неугасимые лампады. Под их кратким светом

текла семейно-привычная жизнь №, в чем-то, быть может, нескладная, неурядливая, трудная и горькая до кипучих непрощающих слез, но во всем, до последней больной кровинки, своя, за которую и буйную голову сложить не жаль. Та жизнь — с терпеливой любовью и заветами потаенного милосердия, с преданьями, легендами, поверьями, завещанными от отцов и дедов, которую вскоре (и недолго осталось ждать) назовут проклятой, патриархальной, облепят обидными, поносными прозвищами.

Первые месяцы германской, второй Отечественной, войны не внесли заметного разлада в устоявшийся быт, разве что люди стали несколько строже и молчаливей. В здании епархиального училища и мужской гимназии открылись лазареты для раненых бойцов, братство хоругвеносцев при соборе Всемилостивого Спаса оборудовало на свои средства богадельню дляувечных воинов, и повсюду собирались средства в фонд победы над врагом.

Летнее наступление генерала Брусилова на третьем году войны подняло в городе волну ликования и восторга, пробудило надежды на скорое окончание военной страсти. Однако потом потянулась осенняя затяжная полоса неудач, необъяснимых поражений. У магазинов и лавок выросли непривычные, пугающие очереди. А в очередях змеились слухи, которых не принимало сердце, но они точили его, как капля камень, — слухи о государе и государыне, о Григории Распутине, об измене...

И вдруг — как гром среди ясного неба — отречение царя от престола.

Первое чувство недоумения, даже страха от этой вести — как же жить без царя? — дня через два, когда новость подтвердились, сменилось бурным ликованием: свобода, граждане! Ура!

Восторженный народ высыпал на улицы. Впечатление было такое, что в домах остались, верно, только немощные старцы да грудные дитята. Везде, куда ни глянь, алели банты — в петлице студенческой шинели, на солдатской папахе, на цивильном пальто. Громыхали оркестры, кричали гармошки, здесь и там хором распевались еще вчера запретные песни. Люди обнимались, целовались, поздравляя друг друга со свободой. Казалось, все опьяняли от нее. И в самом деле, на улицах было много пьяных: сухой закон, введенный в начале войны, отменился сам собой — царя-то нет!

Упоительный пир свободы не мог длиться бесконечно. Люди успокоились, начали трезво смотреть на жизнь не только с праздничной стороны, но осенью, в октябре, совершился большевистский переворот. Жители N не успели дух перевести, сообразить, что к чему, как в стране уже бушевала гражданская война.

Военные действия не затронули N, и все же ночью на улицах грабили, убивали и раздевали, и никто не мог поручиться, что, открыв поутру дверь, он не обнаружит у своего дома мертвое тело или лужу крови — немых свидетелей ночной трагедии. Не легче было и днем.

Как-то накануне Сретенья (в Спасском соборе еще шла обедня) на улице послышались гулкие хлопки гранатных разрывов, а с крыши лучшей городской гостиницы «Эрмитаж» рявкнул и дробной, тяжелой очередью за-колотил пулемет.

В Н стали поговаривать, что в город отовсюду собираются офицеры. На подмогу им будто бы должны прийти не то англичане, не то французы, и тогда водворится прежняя, надежная, устойчивая жизнь.

Этого не произошло, ибо поздним мартовским вечером к перрону вокзала прибыл бронепоезд с пассажиром, разместившимся в вагоне первого класса.

## Глава третья

### Неутомимая деятельность

■ Застегивая китель — верхнюю пуговицу, крючок ворота, Гедров из-за оконной занавески отстраненно-задумчиво смотрел на прибывших по его вызову руководителей города и губернии. На скучно освещенном перроне отдельные человеческие фигуры различались плохо, в темноте обрисовывался лишь смутный силуэт сгрудившихся у вагона людей. Разгоравшийся огонек самокрутки озарял кратковременным красным всплеском чье-то лицо, и оно сразу окуналось во тьму.

— Товарищ Гедров, — спросил ожидавший распоряжения ординарец, — сапоги?

— Нет, благодарю, — отходя от окна, сказал Гедров. — Как приеду на новое место, с дороги ноют суставы. Скажите им, пусть заходят.

Так, переменивший вольную, затрапезную рубаху на казенный, должностной китель, встречал он за столом

заходивших в комнату: секретаря губкома — высокого, пышноусого кавказца, еще не так давно отбывавшего в Н ссылку; председателя губисполкома — русоволосого, с небольшим животиком и лисьими повадками человека; крепкого, плечистого, с ястребиным носом и слегка навыкате глазами, вразвалку, по-матросски шагавшего председателя губчека.

Когда все расселись на стульях вдоль стены, Гедров представился и несколько томительных мгновений испытующим, не стесняющимся взглядом рассматривал собравшихся, будто без слов допрашивал их.

Губернские руководители, люди в общем-то терпкие, видавшие виды, поеживались под этим взглядом: у каждого были свои грешки, упущения по службе. Они ждали гневного разноса, ругани, но уполномоченный заговорил с ними беседующим, дружеским голосом.

— Цель, поставленная передо мною Военным советом республики, — говорил он, — не допустить, чтобы Н, крупный железнодорожный и речной узел, экономический и политический центр, оказался в руках врагов революции. Для этого нужно, во-первых, разобраться, почему город оказался на грани контрреволюционного мятежа. Расследование будет произведено и виновные наказаны. Во-вторых, я должен научить работать тех, кто разучился, и заставить тех, кто работать не хочет. Каждый из вас с этой минуты, — уполномоченный постучал ногтем по столу, — должен понять: время разгильдяйства, лени, прошлых заслуг — миновало. Бдительность,

энергия, строжайшая дисциплина — вот наш девиз. Прощу понять мои слова не как угрозу, а как последнее товарищеское предупреждение: я любого человека сумею поставить на его место, поэтому не потерплю рядом с собой вранья, пьянства, воровства, интриг и подхалимажа.

Уполномоченный, болезненно поморщившись, вышел из-за стола, и все со скрытым изумлением увидели, что на ногах у него не сапоги, логично ожидавшиеся в сочетании с военным кителем и галифе, а домашние тапки. Высокие, чуть не до половины голени, пошитые из шкуры рыси тапки.

— Итак, это что касалось вас. — Уполномоченный медленно прогуливался по вагону. — Теперь что касается наших врагов. Приходилось ли вам видеть, как цирковой укротитель заходит в клетку к диким зверям, как одним властным щелчком бича он дает понять — пришел хозяин, спуску никому не будет. — Гедров помолчал, легкая гримаса боли исказила его лицо. — Такова и наша первоочередная задача — щелкнуть революционным бичом. Господа, мечтающие о возврате вчерашнего дня, должны узнать: хозяин здесь, он никуда не уходил и вновь готов действовать.

Гедров скользнул своим особенным взглядом по присутствующим.

— Так точно, товарищ Гедров, готовы действовать, — выпалил вскочивший со стула секретарь губкома.

Гедров, не привыкший, чтоб его перебивали, хмуро взглянул на него.

— Хорошо. Садитесь, — кашнул он ладонью и снисходительно, понимающе улыбнулся. — А теперь приступим к конкретным вопросам...

Наутро N был объявлен находящимся на осадном положении, в нем был установлен комендантский час и произведены первые аресты. Губчека предоставила данные, и из тех семей, в которых кто-либо из мужчин служил в белой армии, взяли заложников различного возраста и пола: от 86-летнего бывшего вице-губернатора Николая Ивановича Засецкого до молодой беременной Лизочки Гордеевой, первой городской красавицы, чей жених не задолго до приезда Гедрова исчез из города. Три дня они содержались под арестом, а затем ночью их всех расстреляли в канаве за оградой иноверческого кладбища, где обычно хоронили самоубийц и безродных бродяг.

Этот расстрел заставил город содрогнуться. А по нему тут же был нанесен следующий удар.

В назначенный день и час вооруженные отряды закрыли город, заняв окраинные городские заставы. А в городе в это время, процеживая квартал за кварталом, сходясь к центру, по улицам двинулись облавы. Улицы перекрывались заслоном из красноармейцев, и все, угодившие в невод облавы, — кто не успел разбежаться по домам, знакомым и соседям, шмыгнуть в ближайшую подворотню, — все они препровождались в губчека для выяснения личности. Одновременно шел повальный обыск квартир, чердаков, чуланов, подвалов, погребов, дворовых сараек, амбаров, каретников.

За двое суток буквально неусыпной работы губернский город был обыскан, прощупан, перерыт и перевернут сверху донизу. Без внимания не остались ни одна баржа на реке, ни логова бродяг и боязков под пристанью и мостами, ни притоны уголовного отребья, ни один заброшенный, пустующий дом. Из потаенных углов и скрытных убежищ на белый свет под револьверы и маузеры чекистов выходили бледные кадровые офицеры, лабазники и лавочники, те, кто числился в списках «черной сотни», «Союза русского народа» и братств хоругвеносцев, выбирались дрожащие юнкера, безусые ученики старших классов гимназий и семинарий — все, кто мог быть заподозрен во враждебном отношении к новой власти.

Губчека, находившаяся в двухэтажном здании бывшего реального училища, захлебнулась людьми — ими были переполнены коридоры, забит подвал, а человеческий поток не скудел. Тогда выбросили на снег мешки с мукой из близлежащего мучного склада и в нем разместили задержанных.

В кабинетах губчека шли непрерывные допросы: кто такой, где живет, чем занимается, где учился, работал, воевал, что делает в N? В особо сложных, запутанных случаях к допросам подключался сам Гедров. Он же изредка принимал наиболее настойчивых просителей, которые в тревоге за судьбу своих родных добивались личной встречи с ним.

Когда в кабинет к нему впустили очередного посетителя, с уполномоченным произошла чудесная перемена.

Никто бы не узнал холодного, недоступного, закованного в броню официальности долга уполномоченного в улыбающемся, широко распахнувшем руки для объятий человеке. А виновник этой перемены, пошаркивая ногами, ковыляя к нему со смущенной улыбкой, в которой светилась робкая надежда.

— Сергей, дружище, ведь это ты? Я не ошибся, — смеясь, воскликнул Гедров.

— Вы не ошиблись, — скромно отвечал ему Сергей Иванович Коноплянников, коренной житель N, в давние годы однокашник Гедрова по университету.

Обняв старого товарища, Гедров подвел его к столу, вежливо, но твердо пресек его «выканье». После обычных житейских расспросов и непродолжительных, не клеившихся воспоминаний о студенческой жизни Сергей Иванович, заикаясь от волнения, изложил свою просьбу: освободить арестованного сына.

— Безотлагательно разберемся, — сказал Гедров, просияв открытой, приветливой улыбкой, и снова обнял старого товарища.

С этой же, вспоминающей что-то давнее, приятной улыбкой уполномоченный читал и следственное дело сына Сергея Ивановича, которое принесли ему.

Дело заключало в себе исписанный с двух сторон лист бумаги — протокол допроса. В верхнем левом углу листа красным карандашом черкнуто размашистое «Р» — рекомендация Гедрова к расстрелу.

Сын Сергея Ивановича — офицер-артиллерист, участник мировой войны, дезертировал из белой армии, пробрался в родной город и проживал здесь под фальшивыми документами. При аресте оказал сопротивление — ударил безменом чекиста, оглушив его. Искупить вину перед Республикой и вступить в ряды Красной армии отказался: участие в братоубийственной гражданской войне противно его убеждениям.

Гедров мельком взглянул из-за листка на Сергея Ивановича, в молодые годы задиру и острослова, а нынче дряхлого, придавленного жизнью старика, и, закрыв папку, неспешно завязав тесемки, сказал глуховато:

— Обвинения против твоего сына, милый Серж, к несчастью, слишком тяжелы, чтобы я мог принять единоличное решение о его освобождении. Мои соратники меня не поймут. Будем ждать, что постановит на своем заседании чрезвычайная комиссия.

— Дорогой мой, — трясущейся рукой поправляя пенсне, возразил Сергей Иванович, — ты не хуже меня знаешь, у комиссии одно постановление — расстрел.

— Зачем так категорично, — усмехнулся Гедров. — Бывает, что комиссия оправдывает задержанных. Впрочем, если ты убедишь своего сына перейти к нам на военную службу, даю слово, его освободят при тебе. Хорошие специалисты нам нужны.

— На что же мне надеяться? Что ожидать? Только скажи правду.

Они встретились взглядами, и в этот миг, который иногда стоит многочасовых разговоров, Сергей Иванович вдруг понял, как чужды они друг другу. Да, по совести сказать, никогда и не были по-настоящему близки. Даже в университете. Что могло быть общего у Гедрова — отпрыска богатых, чиновных родителей, и у него — сына захудалого служащего из городской управы? Ничего, кроме всеобъемлющей, ликующе-весенней юности.

— Боюсь, ты должен готовиться к самому худшему, — опуская взгляд, вымолвил наконец Гедров.

— Вот как! — Сергей Иванович вскинул голову, в глазах его сверкнул отчаянный, студенческий огонек. — Но почему, скажи мне, почему? Мой сын — прекрасный математик, геодезист-практик, разве ему не найдется работы в другом месте, почему он должен непременно воевать?

— Теперь революция распоряжается людьми, — сказал уполномоченный. — И люди обязаны либо подчиниться, либо умереть.

— Ах, революция, — словно извиняясь за свою непонятливость, вздохнул Сергей Иванович. — Так будь она проклята, если она пожирает наших детей!

Гедров сжал побелевшие губы, но ординарца не вызвал.

Допросы закончились. Многих отпустили, а для оставшихся незадолго до рассвета растворились ворота склада, и в стылом полумраке мартовского утра длинная колонна измученных допросами, голодом и

ожиданием смерти людей под конной охраной двинулась за город. Позади колонны, постукивая железными ободьями колес по булыжной мостовой, катились две телеги. На них везли тех, кто не мог идти, — был болен или ранен при задержании.

Колонна смертников проходила улицами спящего, как будто вымершего города, не встретив на своем скорбном пути ни одного человека. Горожане спали в своих домах, не смея выйти наружу, а уличные, усиленные в эту ночь патрули незримо таились за углами отдаленных домов.

Люди шли по улицам города, прощаясь с ним: с детством, с первой выученной от бабушки молитвой, с первым помнящимся в памяти причастием, с недочитанными книгами, с оборванными, не оконченными мечтами, думами, со всем, что дорого сердцу.

Но не все спали в городе в эту ночь. Чье-то любящее сердце почуяло, что дорого человека повели на смерть. И, презрев страх, не убоявшись патрулей, одна храбрая женщина пустилась в опасное странствие по мрачным каналам улиц. Догнала и у крайнего городского дома проводила беззвучной крылатой молитвой уходившую к рассвету колонну.

Обратно в город смертные телеги вернулись к полу-дню. На них, накрытые брезентом, холмились одежда и обувь убитых.

А городские афишные тумбы, еще несколько лет назад украшенные именами несравненного тенора

И.Алчевского, короля баритонов М.Баттистини и блистательной М.Фигнер, приняли на свои круглые бока свежие отиски губернской газеты с длинными столбцами фамилий расстрелянных.

И много пожилых и молодых женщин в отчаянии потрясенно замирали у этих тумб, спешили домой и там в жгучих, исступленных, обморочных слезах, крестясь и рыдая у семейных, родовых икон, облачались в черные, ночные платки.

Через два дня, поздним вечером, Гедров выходил из здания губчека, отправляясь на вокзал. Он открыл дверь, шагнул на улицу, как тут же прозвучали выстрелы. Первая пуля пробила фуражку на уполномоченном, от второй его стремительно заслонил молодой восемнадцатилетний чекист, пораженный пулей в сердце. Охрана втолкнула уполномоченного обратно в здание, открыла ответный огонь.

Стреляли из покинутой хозяевами осиротевшей книжной лавки через дорогу от губчека. Неизвестный, отстреливаясь, убил еще двоих человек, одного тяжело ранил и последней пулей выстрелил себе в рот. Личность его установить не удалось, при нем не было ни документов, ни часов, ни денег, ни клочка бумажки, ни мешка на белье. Он проник в лавку, разобрав с чердака потолок. Судя по теплой одежде, остаткам недоеденной пищи и количеству папиросных окурков у печи, можно было предположить, что он находился в засаде не один день.

Гедров был возмущен. Не самим фактом покушения, поскольку его жизнь, подчеркивал он, жизнь скромного труженика революции, немного значит для истории, а тем, что контрреволюция свила свое осиное гнездо под самым носом губчека.

За утрату бдительности, халатность и безалаберность Гедров отдал председателя губчека под суд ревтрибунала, который единогласно приговорил того к расстрелу. Гедров, однако, не утвердил приговор, пожурил членов трибунала, что они разбрасываются кадровыми работниками, и разжаловал председателя в рядовые сотрудники.

Ответом на вылазку врага была еще одна общегородская облава. Почти все попавшиеся в ней были расстреляны.

Город накрыла паутина страха. Знакомые улицы казались чужими, на постаревших домах, на серых лицах людей появилось прячущееся, молчаливо-послушное выражение, словно каждый хотел стать меньше, незаметнее. Казалось, даже сам солнечный свет приобрел какой-то тусклый, щемящий, стеклянно-колючий оттенок.

А на бывшую Плацпарадную, а теперь площадь Свободы каждый день по повесткам сходились люди. Там под громы оркестров и пение революционных песен, под разевание знамен один за другим текли нескончаемые митинги, завершившиеся принятием резолюций, то посыпавших приветствия бастующим английским

рабочим, то клеймящих зверства американской полиции при разгоне демонстрантов...

Вроде бы жизнь продолжалась, бурлила, била ключом, но люди понимали — это видимость жизни, подлинная жизнь творится не здесь, на площади, и не в здании бывшего реального училища, а в одиноком вагоне первого класса, что стоял на высокой крутой насыпи тупика под охраной круглосуточного караула.

## Глава четвертая

### Отъезд уполномоченного



Новым председателем губчека был назначен Алексей Блеханов — в прошлом слесарь вагоноремонтных мастерских, солдат-окопник в годы империалистической войны, активный участник установления советской власти в Н.

В прощальной беседе с ним Гедров сказал, что органы ВЧК — это становой хребет советской власти на местах, и поэтому он надеется на его пролетарскую неутомимость в борьбе с классовыми врагами.

Гедров принимал Алексея в жилой половине своего вагона. Стены здесь тоже были обиты кожей и пол застипало серое шинельное сукно, но над кроватью висела семейная фотокарточка, а рядом с ней в золоченой рамке картина — красивая женщина с мечом, наступившая на отрубленную голову мужчины. Меж окон полки с книгами, на одной полке в вазочке букетик засохших забудок. У другой стены, напротив кровати, — пианино.

— Вы, возможно, будете меня порицать, уважаемый Алексей Николаевич, — с ласковой улыбкой говорил Гедров, — но без музыки, увольте, не могу. Мудро сказано: только в Моцарте защита от бурь. Я бы добавил: и в Бахе, но для Баха все же предпочтительней орган.

Алексей, ковыряя изящной серебряной вилкой рыбку на бледно-прозрачном фарфоровом блюде, тайком вытер о брюки вспотевшую ладонь. Великолепно накрытый стол, обходительный, на равных разговор уполномоченного с ним, вкусные кушанья, сладкая водка из запотевшего хрустального графинчика — все так ошеломило его, что он, казалось, лишился дара речи.

В конце ужина двое прислуживавших молодых людей удалились, оставив на столе вазу с яблоками и большую коробку душистых папирос.

— Не возражаете, если я немного помузицирую? — сказал Гедров, вытирая руки желтой льняной салфеткой.

Алексей, до конца не веря, что Гедров не подшучивает над ним, а говорит искренне, покраснел. Скрывая смущение, он взял папиросу из коробки, закурил и задохнулся в кашле. Нежный, по сравнению с привычным махорочным, дым папиросы словно пушистым пером пощекотал в горле.

Гедров деликатно протянул Алексею стакан воды и, когда тот отышался, сказал:

— Так что же вам предложить? Для начала что-нибудь легкое, школьное? Хотя бы... «К Элизе» Бетховена.

Гедров задержал на миг пальцы над клавишами, окинул Алексея задумчивым, далеким взглядом.

Алексей первый раз в жизни слышал пианино. С четырнадцати лет слесарь в мастерских, из цеха угодивший прямо на фронт, что видел и знал он к двадцати пяти годам, когда судьба вознесла его на пост председателя губчека? Конечно, до фронта он много читал и трудовую копейку нес не в кабак, как многие сверстники, а отдавал матери, но единственный музикальный инструмент, доступный ему, была отцовская гармонь.

Но разве сравнить гармошку с тем, что он слышал сейчас?

Прозрачная, текучая печаль, жившая в музыке, казалось, была всюду — в воздухе вагона, в складках оконных занавесок, в золотых буквах корешков книг на полке, в глазах женщины и детей с фотокарточки. Музыка текла из пальцев строгого, волевого человека, одно имя которого наводило страх, будило бессильную злобу и ярость в тысячах и тысячах людей (за сотни километров отсюда и рядом — в подвале губчека), которым никогда не дано проникнуть в этот вагон.

Но музыка отгоняла прочь эти житейские помышления, смывала их с души, на глубокий обманчивый миг душа представлялась какая-то светлая, очевидно, лесная река, сплошь заросшая белыми звездами кувшинок, и думалось, что гражданской войны нет, все друг друга любят, всюду только музыка.

Алексей вспомнил, что эту лесную речку он видел на самом деле. Их рота отступала лесом под огнем австрийской батареи. Тогда он и увидел речку, тогда же его звездануло осколком в правый бок, вынесло два ребра и задело легкое. Вспоминая это, Алексей вдруг обнаружил, что музыки больше нет, а товарищ Гедров, сложив руки на колене, с улыбкой смотрит на него.

— Да вы, Алексей Иванович, оказывается, мечтатель, — сказал Гедров, вновь поднимая руки к пианино.

Алексей опять покраснел, сконфузился, словно его уличили в непозволительном взрослому человеку поступке.

В дверь комнаты постучали.

— Я слушаю, — отозвался уполномоченный.

— Товарищ Гедров, — сказали за дверью, — командир бронепоезда докладывает: поезд к отправке готов, путь свободен. Ваши распоряжения?

— Снимайте караул, командира, начальника станции ко мне. Через пять минут отправляемся.

## Глава пятая

### Председатель губчека

Позвонив с вокзала на службу, узнав, как там дела, Алексей заспешил домой.

Автомобиль, привезший его на вокзал, изломался; ждать, пока его починят, недосуг, и он двинул домой на своих двоих. Легкий на ногу Алексей пешком ходил, как бегом бегал, не угонишься. А сегодня он и впрямь бежал, подхватив под мышку колотивший по бедру тяжелый маузер.

Дома Алексей приобнял радостно ахнувшую жену, расцеловал дочек-погодков, игравших на кровати в куклы (на пол их до лета спускать нельзя, на полу вода мерзнет), стащил полушубок, сдернул с полатей гармошку, обдул ее со всех сторон.

Песни, частушки, плясовые наигрыши Алексей схватывал на лету. Недавняя музыка еще целиком жила в памяти. Хотелось выучить ее на гармошке, затвердить, чтоб потом играть для себя, для дочек, для жены.

Бережно дотрагиваясь до кнопок, он начал подбирать звук к звуку, сливать их, вытягивая в ниточку мелодии. Но только раздались первые звуки, музыка почему-то начала таять в голове, рваться на клочки. Подберет он один кусочек, примется за другой, а первый уж забыл; скорей схватится за него, а второй пропадет, тонет, как в тумане.

Маруся, оставив стряпню, зашла в комнатенку. Дочки, счастливые, что видят отца, с кровати дотянулись до него ручонками, цеплялись за него, отталкивая друг дружку.

— Катюша, Ниночка, — шептала Маруся, замечая, как глубже залегает морщина досады на лбу мужа, как нетерпеливой, злей давят на кнопки пальцы.

Как ни бейся, ничего не получалось. Если б записать на бумаге, что помнится, тогда б и другое уверней вспоминалось. Но записывать музыку он не умел, этому надо учиться.

Алексей сорвал ремень с плеча, швырнул гармонь на полати.

— Поиграй, Леша, — Маруся прижалась к его плечу, обняла мужа.

— А ну ее к Богу в рай, несолидно баловством этим заниматься, — переламывая досаду, отштился Алексей, подхватил дочурок на каждую руку, закрутился в комнатенке, чмокая их в щеки. — Скоро, скоро из гнилухи этой на хорошую фатеру переедем. Как баре заживем.

— Побыстрей бы, — вздохнула Маруся, радуясь, что муж в хорошем настроении и, быть может, пришел на-долго. А то все бывает набегом, сердитый, усталый.

Алексей предполагал провести этот вечер дома, но только они сели ужинать, только завели разговор о новой квартире и Маруся пожаловалась, что Катя второй день кашляет и плохо спит, как за окном послышался шум подъезжающего автомобиля. Алексей с Марусей переглянулись с надеждой: не к нам.

Автомобиль остановился у их дома. Шофер привез записку от начальника отдела по борьбе с бандитизмом.

Алексей дохлебал щи, оделся, перекинул через голову на плечо ремешок маузерной портупеи, подморгнул жене:

— Приеду через час, — и вышел за порог.

В городе уже несколько месяцев пропадали мужики из пригородных деревень. Приедет человек в город и — как в воду канет. Первый сигнал поступил с полгода назад, но ему не придали значения: война идет, мало ли где человек мог пропасть. Затем второй, третий случай, их накопилось больше дюжины. Очевидно, в городе орудует шайка.

А оказалось — всего лишь муж с женой. Они приглашали приехавшего в город крестьянина к себе на ночлег, убивали его и, обчистив убитого, спускали труп ночью под лед.

Всего эта парочка наладила в «Могилевскую губернию» ни много ни мало шестнадцать человек. Было

подозрение, что они и человечиной торговали, но в этом признания выбить из них не смогли. Убийц отправили в подвал, а к Алексею с ходатайством о них пришел начальник оперотдела Петр Лукич Задман. Люди такого сорта были неоценимым материалом в оперативной работе. Сидящим «на крючке»: расстрел или жизнь, им можно было поручать самые неприятные задания. Алексей в ходатайстве отказал. Ладно бы они ухайдакали одного-двух, ну, трех человек, это еще куда ни шло, но — шестнадцать!

— Только — в расход, — сказал Алексей.

Петр Лукич уламывал Алексея битый час и все же добился, что тот обещал подумать.

Алексей было собрался ехать к семье, как поступило сообщение о взрыве на городской электростанции. Это пахло уже не уголовщиной, все поехали туда. Тут была элементарная неосторожность, но выяснение затянулось, и когда Алексей вернулся на службу, домой ехать не имело смысла, только всех перебудишь. В пять утра уже начинался новый рабочий день.

У себя в кабинете Алексей бросил на кожаный диван давно принесенную из дома подушку и лег, накрывшись полушубком. В ночной тишине к нему снова пришла музыка. Как бы воочию он снова увидел легкие пальцы, скользящие над белой разграфленной дорожкой клавиш, как они безошибочно точно, то жестко — ударом, то мягко, едва прикоснувшись, рождают музыку. И, лежа на диване, вдыхая ветровой, дорожный

запах полушибка, Алексей с завистливой тоской подумал, что никогда не сможет играть так, никогда не придет к нему в отдельный вагон молодой сподвижник и он, повернувшись на стуле, поглаживая пальцы, как бы что-то стягивая с них, никогда не скажет: «Итак, с чего начнем?»

Почему же, почему так устроена жизнь? Почему с детства он не учился играть на пианино, не ходил в гимназию с гувернанткой, а стоял у тисков с зубилом и напильником, зарабатывая гроши на прокорм большой матери и младшим братьям с сестренкой? Почему он слушал не музыку, а каждодневный мат пившего за поем отца? Кто виноват во всем этом? Кто отнял у него детство? Кто потом всучил ему винтовку со штыком, и он месил с нею фронтовую грязь, голодал, вшивел в окопах, мыкался по провонявшим гноем, потом и хлороформом госпиталям?

«Порежем всю контрреволюционную сволочь, — подумал Алексей, засыпая, — настанет коммунизм, обязательно пойду учиться».

Рабочий день начинался с приведения в исполнение высшей меры социальной защиты, а попросту — с расстрела осужденных за контрреволюционную деятельность и бандитизм. Присутствие на нем было одной из обязанностей председателя. Обязанностью, конечно, малоприятной, тяжелой, но необходимой. Товарищ Гедров на совещании, посвященном самоубийству начальника спецотдела, так сказал об этом: «Французский политик

Ришелье признавался: “У меня нет личных врагов. Все, кого я преследовал и карал, были врагами государства, а не моими”. Мы же, отбросив буржуазное лицемерие, говорим открыто: враг революции — мой личный враг. Точка. И никаких нервов. Поменьше переживаний, товарищи, это ваш долг, это ваша работа».

Сегодня осужденных было немного — четырнадцать человек. Но в первой же пятерке произошел казус, которого не бывало. Осужденные догола разделись, подошли к черным прямоугольникам, закрашенным на стене подвала, исполнители вскинули револьверы. Промахнуться было нельзя, стреляли практически в упор. Грязнули выстрелы, осужденные повалились. Запахло горячим порохом и свежей кровью. Как вдруг крайний расстрелянный (учитель гимназии, контрреволюционная агитация) приподнялся на четвереньки, ерзая руками по скользкому полу, силясь встать, и, истекая кровью из простреленной головы, хрюпал: «Помилосе... помило...» Ответственный за него исполнитель подскочил, выстрелил, и надо же — промахнулся; третий раз — и опять не попал; и тогда, перехватив револьвер за ствол, отчаянным ударом сорвал верхушку лысого, с закрайками седых волос черепа.

Как потом установили, случай был редчайший: пуля вошла в затылок и вскользь вылетела возле уха, только оглушив казненного.

Исполнителя быстро вывели из подвала, вызвали к нему врача. Чтобы не затягивать время, на вторую пя-

терку по старой памяти встал сам Алексей, у него рука была твердая. Это неоднократно с похвалой отмечал товарищ Гедров, любивший посещать по утрам подвал губчека.

Поднявшись из подвала к себе в кабинет, Алексей почувствовал, что еле стоит на ногах. Сказывалось постоянное недосыпание (спать приходилось по 4–5 часов), да и случай с учителем, что и говорить, был все же переживательный.

Алексей открыл правую створку заглубленного в стену шкафа, налил в чашку с изображением целующихся голубков водки из стоявшего в шкафу чайника, закутил водку куском колбасы и ломтем круто посоленного хлеба и включился в работу: чтение оперативных сообщений, писем (доносов), прием посетителей, допросы задержанных.

Около одиннадцати часов он устроил себе перерыв — поприседал, двадцать раз отжался от пола, выпил два стакана крепчайшего чая. Затем машинкой он набил в папиросную гильзу махорки, отстриг ножницами бумажную трубочку, заправил табак в наборный, привезенный с фронта трехвершковый мундштук и, прикурив, подошел к окну. Направляясь к губчека, дорогу переходил, сопровождаемый двумя красноармейцами из конвойной роты, настоятель Лазаревской кладбищенской церкви отец Панкратий Примагентов. Чуть сбоку красноармейцев следовал сотрудник губчека Тимофей Проймин.

Часа полтора назад из отдела искусств губисполкома Алексею позвонили с просьбой дать кого-нибудь из сотрудников. Узнав, что идут к отцу Панкратию и два красноармейца уже есть, Алексей недовольно буркнул:

— Может, тачанку к этому попу послать? — и все же выделил Тимофея.

## Глава шестая

### Отец Панкратий Примагентов

■ Отец Панкратий Примагентов был личностью в Н примечательной. В ежегодном городском крестном ходе от кафедрального собора к известному всей России подгородному монастырю над многочисленным морем богомольцев возвышалась его исполинская фигура.

В молодые годы он в числе первых учеников закончил в Н семинарию и был оставлен при ней. Но преподавательская деятельность ему не задалась по причине его порывистого, гневного (хотя и быстро отходчивого) нрава. Он попросился на приход, около двадцати лет служил священником в церкви благоверного князя Александра Невского, а когда новая власть закрыла эту церковь, был переведен в Лазаревский храм. Его многочисленная паства последовала за ним.

Литургия Преждеосвященных Даров приближалась к концу. Отец Панкратий причастил исповедников,

дьячок вычитывал псалом «Благословлю Господа на всякое время». В церкви витал бытовой, не нарушающий благочиния службы шумок: люди у свечного ящика получали просфоры.

Вдруг громко, отрывисто хлопнула дверь притвора, и в храме сперва шелестящим шорохом, а затем нарастающей поднялся непристойный, галдящий шум. В этом шуме различалась поступь нескольких человек, идущих через храм, в особенности же четкий, копытный цокот чьих-то подкованных сапог.

— Остановитесь! — пронзительно хлестнул женский вскрик, и церковь, как обвалом камней, наполнилась говором и топотом ног.

С забившимся в негодовании сердцем отец Панкратий накрыл покровцем Чашу, вскинул взгляд на икону Христа над жертвенником, перекрестился и царскими вратами вышел на амвон, заслонив путь уже всходившим на него трем нежданным посетителям. Одного он знал — Тимофея Проймина, в царское время кочегара на лесобирже, пьяницу и кощунника, ныне состоявшего на службе в ЧК. С Тимофеем были еще двое — молодая, бледнолицая, некрасивая женщина в поношенном пальтишке с каким-то свалывшимся и едва ли не кошачьим воротником; и парнишка лет пятнадцати, в черной, гимназической, видно, что с чужого плеча, шинели. На Тимофея была баражковая солдатская папаха, на мальце — треух. В довершение всего малец курил.

У дверей притвора переминались с ноги на ногу красноармейцы с винтовками.

— Кто вы и почему бесчинствуете в храме? — спросил отец Панкратий. Унимая желание вырвать у мальца цигарку, он правой рукой взялся за цепочку наперсного креста.

— Мы из губисполкома. — Женщина предъявила священнику бумажку с круглой печатью. — Нам поручено провести опись церковного имущества.

— Богохульники.

— Губители вы и есть, — загомонил народ.

— Кто бы вы ни были, — заглушил гомон, ответил отец Панкратий, — прошу вас не курить в храме, снять головные уборы. Женщину в алтарь я допустить не могу.

— Не больно, поп, фуфырься. — Тимофея поставил ногу на амвон, притопывал носком. — Куда хочем, туда и зайдем.

— Не иначе, — подпел ему сосунок в шинели, выпустил дым ноздрями, насмешливо глянув на прихожан, сикнул из-под губы тонкой струйкой слюны.

Громкий вздох гневного изумления всколыхнул храм.

Отец Панкратий стиснул цепочку в ладони, перевел дыхание и, желая все же кончить дело миром, сказал:

— Прошу вас, будьте людьми, не безумствуйте.

Женщина повернулась к Тимофею с намерением что-то сказать ему, а он самоуверенно шагнул вперед:

— Проповедь окончена? Посторонись.

Отец Панкратий не шевельнулся. Тимофея взял вправо, священник выставил руку.

— В чека захотел? — пригрозил Тимофея.

— Там ему мозги вправят, — подстегнул мальчишка и прилепил обсосанный, дымящийся окурок сбоку большого, лоснившегося от лампадного масла подсвечника.

Смахнув паскудный окурок на пол, отец Панкратий столкнул своим большим животом Тимофея с амвона и, возгораясь праведной яростью, прогремел:

— Вон, христопродавцы!

Прихожане и незваные гости отшатнулись, будто от удара, огоньки свеч на подсвечнике легли набок и как один потухли, словно бурный порыв ветра сорвал с них огненные лепестки.

— Значит, так, — с трусовато-смузенной ухмылкой сказал Тимофея, оглушенно тряхнул головой, и тут же взгляд его налился прежней самоуверенной яростью. — Арестовать его!

— За что? Почему? — загудели голоса.

— Не отдадим батюшку, православные!

И люди, послушно расступившиеся перед шагавшими красноармейцами, сомкнулись, не пропуская их дальше. Растилкивая прихожан, красноармейцы рвались вперед, но окружавшие их прихожане еще плотней жались к ним. И так сдавили со всех сторон, что красноармейцы не то что двинуться вперед, рук поднять не могли.

Такого оборота событий никто не предвидел — ни отец Панкратий, ни пришельцы, ни сами прихожане.

— Господи, что вы делаете? — испуганно вскрикнула бледная женщина, и отец Панкратий увидел, что это совсем юная девушка, просто от голода лицо ее осунулось и постарело.

— Ну, поп, — шипел сквозь зубы Тимофей, скреб пальцами по кобуре нагана. — Ты ответишь за это по всей строгости ревзакона.

Отец Панкратий оглядел народ, беспомощных красноармейцев, словно запечатанных в людской массе, и сказал обреченно:

— Пустите воинов. Не препятствуйте им.

## Глава седьмая

### В губчека



Алексей вышел из кабинета на широкую площадку, куда поднималась из вестибюля парадная лестница реального училища, наблюдая из-за колонны за происходящим внизу.

В вестибюле, где размещалась дежурка, стукнули об пол винтовки красноармейцев, и Тимофей сердито сказал:

— Принимайте попа. Надоел хуже горькой редьки.

— Как не принять желанного гостя. Давно ждем, — с едкой улыбкой говорил дежурный, выходя из-за барьера, отгораживавшего дежурку от остальной части вестибюля.

— Эка башня вавилонская.

— Дубина стоеросовая, — посмеивались чекисты на лавке за барьером.

Дежурный обшарил карманы отца Панкратия. Расческу, кошелек с деньгами, часы положил на стол за

барьером, полистал карманное Евангелие, вернул его и протянул руку, чтобы снять наперсный серебряный крест.

— Не касайся до святого креста, иже не ты возложил еси на место сие, — сдержанно промолвил отец Панкратий, накрыв крест ладонью.

— Ай, поп, — хохотнул один чекист, — как в церкви своей командовает.

— Я до тебя прикоснусь — запляшешь у меня, — хмуро сказал дежурный. — Сымай сам, не кобенься.

— Пляске не обучен. — Отец Панкратий покачал головой, не убирая руки.

Чекисты скопом, молча пошли из-за барьера.

— Чего с ним толковать, — опередил их Тимофей, — коль русского языка не понимает. — И, подбежав, залепил священнику оплеуху.

Отец Панкратий, вспыхнув, оттолкнул рукой Тимофея, но от обиды не соразмерил силу движения, и сметенный с ног Тимофей кубарем покатился по мраморному полу вестибюля. Охнув, отец Панкратий шагнул, чтоб скорей поднять его, и тут же был облеплен насевшими на него чекистами: двое овладели его руками, третий прыгнул на спину и, запустив пятерню в густые волосы священника, ломая шею, отгибал назад голову, а дежурный вцепился ему в грудь и дважды ударил кулаком в лицо. Отец Панкратий распрямился, крутнулся своим огромным телом, взмахнул руками — чекисты полетели по сторонам, затрещал барьер, со

стола дежурного с грохотом и звоном повалился телефонный аппарат.

— Ах, с-сука, — вскакивая с пола, рвал кобуру револьвера дежурный.

— Что тут за свалка? — Алексей появился из-за колонны.

Все замерли. Из опрокинутого на столе дежурного графина, побулькивая, лилась на пол вода.

— Да вот, товарищ председатель, попа оформляем. — Дежурный застегнул кобуру, оправил гимнастерку.

— Работнички, — хмыкнул Алексей, — впятером одного скрутить не можете. А вы чего стоите, как пни, — закричал он на красноармейцев. — Швабры вам дать, а не боевое оружие. Ну-ко, ходом его сюда!

Красноармейцы, наставив винтовки, погнали отца Панкратия по мраморной, избитой прикладами и подкованными сапогами лестнице на второй этаж. Не подбодило ни сану, ни летам отца Панкратия так оголтело нестись, перешагивая через две ступеньки. Он укоротил шаг и сразу получил тычок штыком в спину.

— Ты заходи, — сказал Алексей Тимофею у своего кабинета, — а вы тут стойте.

В кабинете Тимофея рассказал, что и после ареста священника народ не пустил их в алтарь, стеной встал у иконостаса, а когда он повел отца Панкратия в губчека, народ хотел идти следом, а поп сказал, чтоб все оставались, страдать — так одному.

— Тебя, болвана, зачем туда послали? — заорал на Тимофея председатель. — Ты почему не стрелял, когда в церкви антисоветский мятеж? А бугая этого ты на кой ляд сюда приволок, через весь город крестный ход устроил? Ему у стенки места не нашлось?

— Да чтобы, Алексей Николаич, — обиделся на не-заслуженную выволочку Тимофея. — Вчерась бабенку хлопнул — неладно, сегодня попа не хлопнул — обратно не угодил. Как работать-то мне?

Алексей погонял желваки на скулах.

— Говори с оболтусом. Как ему работать? Пустой головой своей думать, вот как. У этой бабенки два брата на юге, мы б сколько сведений из нее вытянули. А от попа какая корысть? Молебны его да тропари никому не нужны, рвет с них. В общем, держу тебя до первого замечания.

Алексей до сего дня, конечно, встречался с отцом Панкратием на городских улицах, сойтись же лицом к лицу им пока не доводилось, и сейчас, поглядывая на него, вошедшего в кабинет, и готовясь начать допрос, Алексей, как и многие люди, оказавшиеся вблизи священника, невольно подивился той необъятно-могучей, богатырской стати, какой одарила его природа. На лицах многих людей, очутившихся в губчека, появлялось выражение виноватой пришибленности, на лице же отца Панкратия и здесь, даже после недавней схватки, сохранялся отпечаток величавого, уверенного в себе достоинства.

— Садись, — сказал Алексей.

— Постою, мы люди простые.

— Сполняй, что приказано. Не на базаре.

Отец Панкратий сел на табуретку возле кафельной, жарко натопленной голландки, приложил руку к затылку, глянул на ладонь и качнул головой.

Алексей, не спускавший с него глаз, подошел к нему, нагнулся голову, раздвинул пальцем исседа-русые пряди: на затылке кровоточила ссадина от вырванного клока волос.

— Фельдшерицу ко мне, — приказал он, приоткрыв дверь кабинета.

Зина, фельдшерица в губчека, была духовной дочерью отца Панкратия.

Ходить открыто в церковь ей было нельзя, она исповедовалась и причащалась на дому священника. Увидев батюшку у Блеханова, она чуть не упала в обморок, но сопротивлялась с собой. Все же, обрабатывая ссадину, она так волновалась, что пролила половину пузырька с йодом за шиворот отцу Панкратию. Холодящая струйка ниточкой протекла меж лопаток, засаднила в штыковой ранке.

— Ответь мне, гражданин Примагентов, — сказал председатель, когда фельдшерица вышла, — как ты относишься к советской власти?

— Власть она и есть власть. Без нее никуда, — ответил священник.

— Почему ж не сполняешь требований ее представителей?

— В алтарь, святое место, с цигаркой да в шапке входить не положено.

— Для тебя — святое место, для власти — обнакованное помещение. Так. А кто тебе дал право речи на улице перед народом говорить? Ты у кого разрешения на это испросил?

— Да что же это, — возразил отец Панкратий, — без спроса теперь и не пикни?

Председатель, не ответив, поднялся, потрогал револьвер на столе, оперся кулаками на зеленое, вытертое сукно столешницы.

Священник почуял: настала важная минута, однако вставать не стал.

— За сопротивление власти, выразившееся в недопущении ее законных представителей в алтарь культового здания, а также контрреволюционную пропаганду, — чеканил слова председатель, — губернская чрезвычайная комиссия приговаривает гражданина Примагентова к расстрелу!

Алексей надавил кнопку звонка. В кабинет вошли два чекиста с револьверами, подхватили священника под руки. Он поднялся с табуретки, пошел, но удверей, словно очнувшись, сказал:

— Гражданин начальник, да ведь у нас завтра престольный праздник. Всенощную-то кто сегодня править будет, я ж в церкви-то один?

— В подвале справишь, — ответил председатель. — Там и со святыми упокой запоешь. Ведите его.

— Гражданин начальник, — прижав локтями к косякам дверей своих конвоиров, возвзвал отец Панкратий. — Отпусти, ради Христа! Завтра после обедни сам приду, хошь на куски меня мелкие режьте. Молиться за вас буду.

— Ведите же его! — ударил кулаком по столу Алексей.

## Глава восьмая

### Во узилище смрадном



Когда губчека заняла здание реального училища, помещения подвала приспособили под камеры — убрали лишние перегородки, заложили имевшиеся окна, двери оковали железом, снабдили их глазками и засовами. В одной камере находились временно задержанные, которых по выяснении обстоятельств или отпускали восвояси, или водворяли во вторую камеру, где содержались приговоренные к расстрелу. Расстрелы производились в третьей, самой большой камере, в дальнем конце коридора. Эта коридорно-камерная система в документах именовалась внутренней тюрьмой губчека.

Чекисты с такой остервенелой поспешностью волокли священника по коридору, а потом стремглав по главной лестнице на первый этаж и мимо дежурного по винтовой лестнице в подвал, что отец Панкратий подумал: «Убивать ведут», — и на бегу стал читать себе

отходную молитву. И только оказавшись в камере, когда за его спиной длинно шаркнул засов и загремел запираемый замок, он понял, что еще поживет.

Священник с облегчением перекрестился, переводя дух, осмотрел каталажку: промозглую, без окон комнату с тусклой лампочкой над дверью. Только здесь, у порога, было светло. Здесь же воняло нужником — у двери в углу стояла «параша», кадка с крышкой. В сумраке камера показалась очень большой, несоразмерной даже со зданием чека, но глаза присмотрелись, во тьме решетчато зачернели нары. На них кто-то был, из тьмы, как два серо-призрачных пятна, вытаяли чьи-то лица.

— Мир вам, люди добрые, — в полупоклоне приветствовал их священник.

— Батюшка! — был ему ответом истошный вопль, и двое человек, мужчина и женщина, бросились к нему под благословение. Отец Панкратий умилился: целуя благословившую их руку, они омочили ее слезами.

— Помолитесь, батюшка, за нас, безвинно страдаем, бес попутал, — всхлипывала женщина, не отпуская руку.

— Господь вас простит, дорогие мои. Молитесь Господу. Он утешит, укрепит, пошлет Ангела Хранителя, как послал в темницу апостолу Павлу.

На двери камеры загремел засов, скрежетнул замок. Новые знакомцы священника отпрянули от него, полезли на нары, забились в дальний угол.

— Эй, мясники, выходите, — позвал их отперший камеру часовой.

— Нет, нет, — завыли с нар.

— Не бойтесь, на допрос.

Опрометью, отталкивая друг друга, мужчина и женщина побежали к дверям.

Отец Панкратий остался один.

Происшествие в церкви хотя и взволновало его, но в душе он готовился к чему-то подобному, ждал. Такие комиссии прошли уже по многим городским церквам. Кой-где священники пострадали, приняв мученический венец, а в иных храмах все обошлось благополучно. В Покровскую на Торгу церковь пожаловали после службы, все чинно, благородно переписали и с миром удалились. Но отца Георгия из Вознесенской церкви прямо у престола испыряли штыками, а отца Иннокентия из Никольской — вздумать жутко — ептирахилью удавили. Что творится! А его вот сюда привели. Что ж, будь что будет, как Господу угодно, а он свой долг исполнил. В душе отложилась только горечь, что ненароком ушиб человека да сцепился, как зверь необузданный, со служителями безбожной чеки. Но не отдавать же им крест на поругание. С мертвого пусть снимают.

Думы о завтрашней службе (кто ж ее вести-то будет?), горестные раздумья о семье, о матушке Платониде с детьми обступили его. Как же они без него, бедные, жить будут? Зиму перезимовали с Божьей помощью, но

до тепла, до первых овощей еще далековато. Голодовать еще и голодовать.

Отец Панкратий с сожалением вспомнил об оставшихся в кошельке шкалике постного масла и полуфунте перловки, что поднесли ему сегодня доброхоты-прихожане. Передадут ли кошельку матушке, ведь нынче каждый сухарь, каждая кручинка в цене.

Засов камерной двери заработал снова. В камеру, доставая до нар, упал косой лоскут света из коридора, и в женской фигуре на пороге отец Панкратий узнавал и не узнавал Зину-фельдшерицу.

— Зинаида Степановна?.. — с заминкой, в которой было желание ошибиться, спросил он.

— Да, батюшка, — грустно подтвердила Зина, сядясь на нары рядом.

— Как же так? — развел руками отец Панкратий. — Вас-то, женщину, за что?

Зина работала в губчека ради больной матери: зарплата тут хорошая, твердая, и главное — паек. Насмотревшись в кабинете председателя на избитых, доведенных до обморока, до нервного припадка людей, она давно порывалась уйти отсюда, но не хватало мужества. Однако, увидев арестованного, пораненного отца Панкратия, дорогого батюшку, сдерживавшие преграды — благоразумия, осторожности — рухнули. Она выплакалась у себя в медицинском уголке, помолилась на образок Божьей Матери Владимирской, что носила с нательным крестом, пошла и заявила Блеханову, что

отказывается служить в губчека. Председатель возмущался: это почему же? «Потому что вся губчека, от крыши до подвала, забрызгана кровью, и меня мутит от этого».

— И теперь я здесь, — покусывая губы, чтоб не заплакать, сказала Зина.

Отец Панкратий бухнулся на колени перед ней.

— Зинаида Степановна, — со слезами в горле говорил он, — прости, коли в чем согрешил пред тобою. Прости, ежели чем досадил, опечалил. Из-за меня, скверного, страждешь и муки лютые приемлешь...

— Вставайте, батюшка, вставайте, — заплакала Зина, теребила отца Панкратия за плечо.

Священник склонился, чтоб коснуться лбом пола, и отшатнулся — в лицо ему шибануло удущивым запахом мочи, словно пол был пропитан ею.

— И вы меня, батюшка, простите, — когда священник поднялся, сказала Зина, падая на колени.

— Господь простит, — подхватывая ее с гадкого пола, сказал отец Панкратий.

## Глава девятая

Пою Богу моему дондеже есмь...



Еще не раз и не два возгрел замок, отворилась массивная дверь, и в камеру зашли, были втолкнуты, затащены под руки многие разные люди. Три молодых человека — вероятно, офицеры; затем пара — должно быть, муж с женой, несколько человек порознь — один крестьянского складу, двое с виду мастеровых.

Люди заходили в камеру молча, брели к нарам или подолгу стояли у двери, переживая всю глубину совершившегося несчастья. Иногда сразу же, пока еще двигался, отрезая все надежды, засов, человек кидался к двери, колотил кулаками, умоляя выпустить его, разобраться, он же ни в чем, ни в чем не виноват. Подчас кто-нибудь срывался с нар, жадно, захлебываясь, кричал в глазок, что хочет сделать важное сообщение.

— Чего, говори, — подходил к двери часовой.

— Скажу одному председателю губчека, — вопил контрреволюционер, виновный лишь в том, что у него при обыске нашли нагрудный знак члена «Союза русского народа», владельцы таких значков подлежали безоговорочному расстрелу. Часовой отходил от двери: неосновательных заявителей, отделяющих обищими словами, к председателю было велено не приводить.

Люди испокон века живут в сознании грядущей неминуемой смерти. Кто ощущает это сильно, кто слабей, но нет ни одного человека, который хотя бы однажды не задумался об этом. А задумавшись, не встретился бы с тайной. Действительно, по мудрому устроению Господню, никто из людей не знает дня своей кончины. Это не случайно. А здесь, в камере, покров с тайны был сорван. И если причастность к тайне возвышает человека, то ее отсутствие одинаково унижало всех, все делались равны в унижении.

Отец Панкратий подумал, что в проповеди эту мысль можно было развить пространный и глубже, задержаться, в частности, на том, что грех самоубийства тем и непростителен, что человек самочинно посягает на Божественную тайну.

Однако время проповедей прошло. С каждой минутой жизнь уходила, как вода меж пальцев. Никогда уж он не увидит Лазаревский храм, не поклонится могиле приснопамятного отца Владимира, не произнесет в храме проповедь. Никогда не пройдет по милым сердцу

городским улицам, мимо здания семинарии, где было прожито столько счастливых, радостно-духовных, а порой и горько-постыдных дней (грехи юности и по прошествии долгих лет жгли сердце). Никогда больше не увидит он родимую матушку Платониду, не обнимет детей.

Скорбь по уходящей жизни, а пуще всего неодолимая жалость к матушке и сиротеющим детям могли бы свести с ума. Спасала молитва. С той минуты, как он переступил порог камеры, отец Панкратий неустанно творил благодатное: «Господи, помилуй!» В редкие минуты, когда он оставался один, он шептал ее явно, устами, и повторял мысленно, когда разговаривал с кем-то, утешал, исповедовал. Народу в камере натолкали много, люди все незнакомые, чужие. И хотя у всех было одинаковое горе, но тоскующая человеческая душа жаждала слова сострадания и поддержки. Он, священник, оказался для всех тем общим человеком, к которому легче было подойти за словом утешения. Легче такое слово принималось и от него, когда он подходил к человеку сам.

А непрерывно звучащее в сердце «Господи, помилуй!» — утишало скорбь, отгоняло тоску. И чем непрестанней длилась молитва, тем ощутимей пробуждалось в душе чувство неведомой свободы. Как упругая иголочка весенней травы, проколов слой перезимовавшей, гнилой листвы, тянется к свету, так и душа, словно пробив какую-то корку, рвалась к новой, иной жизни. Это было удивительно, но именно здесь — под замком

и охраной, в вонючем холодном подвале, орошенном слезами, слышавшем стенания и проклятия несосчитанных жертв, он чувствовал себя более свободным, чем там, на воле. Если не считать не утихавшей, жалостной тоски по матушке и детям, во всем остальном он был совершенно свободен. Все служебные, родственные, соседские связи отпали, он ни от кого не зависел, никому не подчинялся, ни перед кем не был ответственен. Только перед совестью, перед Богом.

В камере все молчали. Такие мертвенные, провальные паузы возникали все чаще. Казалось, даже время застывало в этот миг, но оно неумолимо шло, его нельзя было ничем ни замедлить, ни остановить.

Где-то наверху кто-то глухо ударил в блюдо: блюм-м. Почти сразу все догадались: то звонят ко всемощной на церкви Афанасия Александрийского, что неподалеку от губчека. Звон проникал под землю, просачивался дальним зовущим стоном.

Отца Панкратия кто-то позвал. Он повернулся на голос и увидел, что потолочный угол камеры возле дверей заняла область равномерно дрожащего, струистого света. В камере не стало светлей, никто не шевельнулся вместе с ним, и священник понял, что удостоился духовного видения. В этом дивном, непохожем на солнечный, свете находился юноша с волнистыми, ниспадающими на плечи кудрями. В руках он держал связку венков, какие обычно плетут летом девочки. Свив невинными, чистыми пальчиками тугой ободок из стеблистых ромашек,

они вплетают в него фиолетовый огонек полевой гвоздички, и золотистую звездочку зверобоя, и лиловый погремок душистой фиалки. «Так вот они какие, мученические венцы», — подумал отец Панкратий. А он представлял их золотыми, убранными в драгоценные камни, как царские короны...

— Пасха скоро. Семь дней осталось, — с болью и горькой укоризной сказал кто-то рядом.

— Нам уж ее не праздновать, — послышался тяжкий вздох.

— Там отпразднуем! — указывая рукой вверх, сказал отец Панкратий, поднялся с нар. — Ну, братья и сестры, делу — время, молитве — час. Вы как хотите, а я буду всенощное бдение править.

— Батюшка, — сказал чей-то боязливый голос, а из-под боязни сквозила радость, — да разве тут можно?

— Не злите вы их, здесь же не церковь, — проскучил кто-то внизу.

— Вся земля — храм Божий, — сказал священник.

— Батюшка, — попросила Зина, — благословите псаломщицей быть. Вам одному трудно.

— Службу хорошо знаете, не сбьетесь?

— Не сбьюсь. Давно я мечтала, там не довелось, так хоть здесь, перед смертью.

— Не поможет нам, святой отец, ваша служба, — сказал один из троих молодых людей. — Разве только время быстрей пройдет.

— Кто-нибудь еще хочет что-то сказать? — спросил священник, прикидывая, куда обратиться лицом, где восток. По его расчету, стоять нужно к двери правым боком. — Кто не хочет молиться, прошу не мешать нам.

Отец Панкратий снял с себя зимнюю, теплую, добротно наваченную рясу, положил ее на нары, поправил крест на груди, откашлялся и произнес:

— Восстаните, вернии!

На этот возглас позади него стали: Зина, супружеская пара, один из молодых людей (товарищи его присоединились к нему). Люди вставали и вставали. Мельком оглянувшись, священник увидел, что почти вся камера стояла за ним, в промежутках между нарами и ближе к двери.

— Как древние христиане в катакомбах, — шепнул один офицер другому.

— Вполголоса, не громко, — предупредил отец Панкратий, поднял руку ко лбу и, осеняя себя знамением победы жизни над смертью, возгласил:

— Слава Святей, Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков.

— А-аминь, — нестройно подпели в первый и последний раз в жизни собравшиеся вместе певчие.

## Глава десятая

И в жизнь вечную...



Отец Панкратий мог никого не предупреждать — в коридоре перед камерами сейчас не было ни души. Часового позвал в караулку играть в карты комендант внутренней тюрьмы — Антон Пастухов, бывший проштрафившийся председатель губчека, помилованный Гедровым. Играли в подкидного, на «носы», для второй пары не хватало человека. Осужденные из камеры, запиравшейся засовом и замком, никуда выйти не могли, а если б каким-то чудом и вышли, то коридор тюрьмы от караулки отделялся еще одной дверью.

Карты были новенькие, изъятые недавно при обыске в одном буржуйском доме, такими поиграть приятно. Тасуешь, сами в руках шевелятся. И уж коли такими картишками по носу от души, с оттяжкой врежешь — искры из глаз.

Первую игру Антон с напарником проиграл и сейчас, зажмурившись, получал положенные удары. Как

бывшее начальство, его жалели, били вполсильы: высужился ведь проныра Антон уже в коменданты, а ну подфартит и опять председателем станет.

На винтовой лестнице послышались шаги. В караулку шел сменившийся дежурный — Гаврила Смирнов, принимавший днем отца Панкратия.

Гаврила подсел к Антону, заглядывая ему в карты.

— Как, брат лихой, живем-можем? — спросил он.

— Помале-е-еньку живем, — думая, как сходить, пропел Антон, ткнул Гаврилу локтем в бок. — Расскажи-ко, как с попом-то вы воевали, уделать его не могли.

— Чего не могли? — Гаврила почесал в затылке. — Леха не сунулся бы, изломали бы ему машину.

— Куда вам, — поддразнивал Антон, — силищи-то у него!

— Ну да, мерин здоровый. Четверых ведь нас на се-бе поднял. Дай, Антоша, ключи, гляну на него напоследок, все же видный мужчина.

— Только недолго, — Антон подал приятелю связку ключей, вскинул над головой козырную карту. — Кто имеет двух бубен, не бывает...

Гаврила на цыпочках подкрался к камере, отвел пальцем завешивавший глазок железный кругляш. В тусклом сумраке камеры слитной серой массой стояли люди. Поп возвышался над ними темным столбом. Где-то рядом у двери торопко лилась невнятная пономарская частоговорка, словно в камере кто-то читал женским голосом псалмы. «Боже, Боже мой, к Тебе

утреннюю...» — машинально повторил за чтецом Гаврила, сплюнул и насторожился. А голос вскоре начал: «Господи Боже спасения моего, во дни возввах и в но-  
щи пред Тобою...»

Сомнений не могло быть — в камере читали шестопсалмие, там шла служба. «Вот это номер!» — Гаврила выждал еще малость, чтоб окончательно удостовериться в истинности своей догадки, и так же крадучись отошел от камеры.

«Ну, по-о-оп! Такого в чека еще не бывало. А что будет Антохе — псу, если Блеханов узнает об этом! Натянет он Антошу как надо».

Гаврила давно имел зуб на Антона. Когда тот еще председательствовал, они однажды круто разаялись из-за посеребренных шпор одного хлопнутого офицершки.

— Ты чего, заснул там? — принимая ключи у Гаврилы, проворчал Антон, сдавая карты.

— Все запер, запер, — невпопад ответил Гаврила, спеша к винтовой лестнице.

Антон подозрительно посмотрел ему вслед, однако, охваченный азартом, сыграл еще двух «дураков».

А Гаврила, поднявшись наверх, облокотился на барьер в дежурке, яростно думая (аж голова горячая стала!), как сделать, чтобы Блеханов узнал о службе в камере. Пойти на прямой донос было как-то боязно, а пустить сообщение окольным путем — потеряешь время.

Но тут со второго этажа ступил на парадную лестницу и, скользя рукой по перилам, пошел вниз начальник оперотдела Петр Лукич Задман.

— Ну, Ванька, — нарочито громко сказал Гаврила новому дежурному, — знал бы ты, что на белом свете деется! В камере поп Панкрат советской власти анафему поет, а наш Антон, едрена корень, и в ус не дует.

Круглое Ванькино лицо от изумления округлилось еще сильней, но выражение глупой, конопатой Ванькиной физиономии мало интересовало Гаврилу — тот, кому предназначались слова, услышал их.

— Какую анафему? — спросил Задман.

— А вы сходите, послушайте, Петр Лукич, — умирал от радости Гаврила.

— Нехорошо радоваться промаху сослуживца, — назидательно заметил Задман. — Это подло.

На винтовой лестнице послышался бешеный топот, в вестибюль с выпученными глазами, с окровавленным лицом выбежал Антон. Вырвавшись из руки схватившего его Петра Лукича, размазывая кровь по лицу, он вихрем помчался на второй этаж.

— Оружие у них там! — орал он во весь голос.

Растворялись в былое время царские врата в Лазаревской церкви, из алтаря шествовал в храм отец настоятель Панкратий Примагентов в сонме сослужащих ему иереев, певчие на хорах воспевали умилиительные тропари «Ангельский собор удивился...», храм

насыщался светом свеч в паникадилах, перед образами мигали и дрожали глазки лампад, трепет и волнение растекалось по храму и еще строже смотрел с потолочной росписи Господь с младенческой душой Богородицы на руках.

Наступил этот торжественный, радостный миг и в подвале губчека, и хоть не было ни многосвечных паникадил, ни душистого кадильного фимиама, ни лампад, ни стройного пения вышколенного регентом хора, но в сердцах молящихся свет разгорался все ярче.

В это время Антону стало невмоготу размышлять о странном поведении Гаврилы, о его бегающем взгляде, о той суетливости, с какой Он заторопился наверх. Антон швырнул карты и пошел взглянуть, что же такое Гаврила увидел в камере.

«Ах, подлюги!» — свирепея от злобы, подумал он, услышав пение.

Ключ никак не попадал в скважину замка.

— Молчать! Перебью как собак! — прорычал он, распахнув настежь дверь.

Люди, напуганные его появлением, умолкли. Слышался только голос отца Панкратия и Зины. Но сразу же, подстраиваясь, прикрепляясь к их голосам, люди возобновили пение.

— Молчать! — заверещал Антон, ринулся в камеру, расстегивая кобуру.

Но только револьвер привычно вылетел из кобуры, как сокрушительный удар по зубам посадил Антона на зад. Револьвер завертелся по полу камеры.

Антон вертко перевернулся на четвереньки, вскочил, кинулся вон, захлопнул за собой дверь и, запирая замок, обдумал две мгновенные мысли: управиться своими силами (часовые побьют их из винтовок) или лучше сообщить начальству?

А в камере отец Панкратий потребовал у офицера, разделавшегося с Антоном, спустить револьвер в поганую кадку у двери, после чего сказал:

— Мир всем! — и, став ближе к лампочке, начал читать Евангелие под Лазареву субботу.

Не дослушав до конца суматошный рассказ Антона, Алексей Блеханов, побледнев, метнулся к заглубленному в стене шкафу, где в соседнем с чайником и чашкой с голубками отделении наготове стоял тяжелый и толстый, как самоварная труба, ручной пулемет «Льюис».

Дочитав Евангелие, отец Панкратий осенил им паству и, словно предчувствуя, что истекают последние минуты его земной жизни, что уже мчит к камере, грохоча коваными сапогами, кромешное чекистское воинство во главе с одержимым его председателем, грянул своим знаменитым на всю епархию, широким, будто полноводная весенняя река, басом:

— Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу...

— Отпирай, раззыва! — став у камерной двери, приложивая к пулемету каравай патронного диска, взревел Алексей Блеханов.

Повернулся ключ, захрипел засов. В коридор вытекла мощная, густая волна:

— ...даде нам живот ве-е-е-ечный...

И только отшло чуть в сторону полотно двери, Блеханов вогнал в гущу людских тел протяжную пулеметную очередь.

Последнее, что увидел Алексей, был обернувшийся к нему отец Панкратий и его лучащиеся, пылающие необыкновенным светом в черноте подвала глаза.

## ЭПИЛОГ

По-разному сложилась дальнейшая жизнь героев этой небольшой повести. Город N существует и до сего дня. Правда, от некогда старинного русского города осталось только название: он перестроен и исковеркан до неузнаваемости. История с попом, расстрелянным во время совершения службы во внутренней тюрьме губчека, дошла до самого товарища Гедрова. После этого Алексей, Петр Лукич и Антон круто пошли в гору. Однако ни они, ни сам Гедров не пережили тридцатые годы. Сквозь все испытания благополучно прошел лишь один подловатый Гаврила.

В бывшем здании ЧК ныне размещается институт. По его лестницам и коридорам ходят молодые веселые студенты и студентки, не догадывающиеся, кого водили по этим коридорам и лестницам почти восемьдесят лет назад. В стенах камеры, где приняли смерть отец Панкратий и его паства, пробили окна,

приспособив ее под лабораторию сопротивления материалов.

А в Лазаревской церкви, которую на другой день после преставления отца Панкратия закрыли, вот уже более пятидесяти лет снова идут службы. В храме горят лампады и свечи, курится ладанный дым. В Великий пост под Лазареву субботу священник читает в алтаре Евангелие, и мнится порой убогим старушкам, что не священник, а Сам Господь глаголет вечные, нетленные словеса:

— Аз есмь воскрешение и живот: веруй в Мя, аще и умрет, оживет (Евангелие от Иоанна, 11, 25).

# **Венчание**

**Повесть**

Violetta(espansione):

Ach, quell amor, quell amor che palpito<sup>1</sup>.

Д. Верди. «Травиата», 1-е действие

Грех юности моей, и неведения моего

не помяни.

Псалом 24, 7

1

Когда показались окраины В., волнение так сдавило грудь, что Виктор остановил машину и вышел. Слезы умиления застелили глаза. Вспомнился кадр из «Лотты в Веймаре», где юный Гете, прижимая к груди томик Гомера, выбегает из дома... И сейчас, в это раннее июньское утро, в лощинах так же, белея, дымился туман. Поднимаясь под лучами солнца, он становился кисейно-прозрачным, и деревья, и здание школы, и стайка пасущихся на лугу овец виделись сквозь эту волшебную кисею сказочной идиллической картинкой. Все было напоено светом. Дружный хор щебетавших в придорожных кустах и деревьях птиц словно пел о радости жизни, о молодости и любви. Казалось, пропало страшное для человеческой жизни расстояние в два с лишним десятилетия и сейчас случится чудо:

<sup>1</sup> Виолетта (страстно): Ах, та любовь, та любовь, всесильная (итал.).

с книжкой Гете, купленной в рижском «Букинисте», появится сержант Виктор Огнев, 23-летний «старик», которому осталось пять месяцев до дембеля. Он побежит по «прешпекту», как он любил называть эту тополевую аллею. Где-то здесь его ждет Лайма. Как дивно найти ее, склонившуюся за тенистым кустом, как горяч и волнующ поцелуй смеющихся милых губ под сенью развесистого, осыпанного мягкими зелеными коробочками созревающих плодов орешника...

Закончив солдатскую службу, молодым парнем покинул он этот край, сперва часто вспоминал его, потом все реже, реже, но сегодня, когда два часа назад колеса его «Нивы» пересекли рубеж России и Латвии и за окошком машины замелькали сквозные сосняки на золотистых от восходящего солнца пригорках, когда на улицах спящих городов взгляд понимающе схватывал, казалось бы, напрочь позабытые слова: *veikals, ednīca, viesnīca*<sup>1</sup>, когда сам воздух, дышавший смолистой хвоей и влажной терпкостью недалекого моря, опахнул лицо, — сердце замерло и обнялось грустным, щемящим чувством встречи с оставленными, забытыми, но бесконечно дорогими местами.

Виктор тронул машину. Глаза вновь и вновь находили пищу для воспоминаний, сладко будораживших память. Вот сад — сюда они бегали за яблоками. В то лето на яблоки был такой урожай, что их печальным и лакомым

.....

<sup>1</sup> Магазин, столовая, гостиница (латышск.).

ароматом пропахли и казарма, и караулка. Три вещмешка яблок он снес матери Лаймы. Она наварила варенья и заправила двадцатилитровую бутыль вина. Надеялась на свадьбу. Вот тепличное хозяйство колонии — сюда они совершили налеты за огурцами. Вот клуб — сколько здесь посмотрено фильмов! «Лотта», «Полночный поцелуй», «Большие надежды»... В клуб рота отправлялась строем, а обратно в строю топали «салаги» да второй год. «Старики» шушукались с девчатами у клуба или брели сзади по мосткам, покуривая и обсуждая свои предмебельские проблемы. Ротный смотрел на это сквозь пальцы, лишь бы на вечерней поверке все были «как штык».

А вот и ее дом. Среди неказистых серых домишек возвышался выложенный из гранитных блоков, с глубокими швами рустовки старинный особняк (видимо, в старину здесь было чье-то поместье). Ни в каких мечтах он и вообразить не мог, что когда-нибудь снова увидит его. Сколько раз он прибегал сюда, свистел под окнами песни, бросал букеты полевых цветов вон в то угловое окно. Господи, как печально и сладко ноет сердце!

Времени — половина пятого. Идти туда еще рано.

Из сумки на заднем сиденье Виктор извлек термос с куриным бульоном, пакет с бутербродами. Наливая в чашку горячий, аппетитно пахнущий бульон, мизинцем левой руки нажал на щитке клавишу магнитофона. Полились грустные звуки прелюдии, их сменила оживленная, искристая музыка бала. Грациозно вступила веселая скрипичка, и до нежнейших нюансов знакомый голос запел:

— Flora, amici, la notte che resta<sup>1</sup>.

Виктор в изнеможении откинулся на спинку сиденья. Веки наливались теплой тяготой сна. Давненько, давненько не учинял он таких подвигов. Столько времени за баранкой. Но самочувствие вполне сносное. Конечно, в висках жмет, давит. Это возрастное. Уже в полуслне Виктор завинтил пробку термоса, а надеть крышку не сумел, сон поглотил его, и он заснул, прижав к животу железный, похожий на артиллерийский снаряд, термос.

Где-то в непостижимой высоте звонко реял отважный тенор: «E ch'io bramo immortal come quella»<sup>2</sup>, а за пультом чертил по воздуху дирижерской палочкой трогательные письмена седой маэстро с сурово подстриженными усами.

## 2

Спал Виктор недолго. За это время весенним ручейком блеснула любовь Альфреда и Виолетты, и когда он проснулся, povera donna<sup>3</sup> предсмертным, тающим говорком прощалась со всем, что было ей дорого в жизни.

<sup>1</sup> Виолетта:

— Флора, подруга, уж ночь миновала (итал.).

<sup>2</sup> Альфред:

— Вам желаю бессмертия богини (итал.).

<sup>3</sup> Бедная женщина (итал.).

Солнце поднялось высоко, по улице идут редкие прохожие. Виктор ловил их взгляды, мечтая увидеть знакомое лицо. Увы, никто здесь не помнил его.

Узким проходом меж сараев он вышел на задворки. Там, в густой траве, наполовину вросший в землю, кой-где покрытый замшевыми лоскутками зеленовато-серого мха, лежал мельничный жернов, стянутый двумя лентами железных обручей. Пусть все забыли его, но этот древний старец помнит, как они с Лаймой сиживали здесь по ночам и он учил ее находить созвездия. А затем экзаменовал ученицу. За неверный ответ — штраф. Поцелуй. Иногда, смеясь, Лайма ошибалась чуть не на каждом созвездии. А однажды, рассердившись на что-то, без запинки отбарабанила их все до единого, ожгла его пощечиной и умчалась домой.

Прерванное сном ощущение исчезнувшего времени снова завладевало душой. Двор, поросший мелкой ромашкой, был тот же, откуда-то знакомо наносило клевером, а остановившись на крыльце, вглядываясь в маящий сумрак коридора, оттягивая миг наслаждения, когда он шагнет туда, он подумал, что, может быть, даже воздух в коридоре прежний. Эта удивительная, неповторимая возможность находиться в дне сегодняшнем и одновременно в мире четвертьвековой давности пьянила и пронимала его до слез.

Любовно скользя ладонью по вылощенным от бесчисленных прикосновений каменным перилам, он взошел на второй этаж и размеренно, даже как бы

торжественно ударил в дверь. Вроде бы в те годы дверь была обита другим материалом, если была обита вообще. Эта мелочь забылась.

Ему не ответили. Виктор постучал еще, прижался ухом к обивке. Тишина.

Неужто она не живет здесь? А телеграмма? Нового адреса в ней не указано. Где ж ее искать? Через адресный стол? А если она замужем?

Положение вырисовывалось глупейшее. Отложив все дела, сорвавшись с места, выдержать шестнадцатичасовую дикую изнурительную гонку, притормаживая лишь на пять минут, чтобы перекусить да обойти вокруг машины, прогоняя дремоту; за Псковом схватиться с ментом-гаишником, который ночью от нечего делать пустился проверять, как у него работают «дворники», и только десятидолларовая бумажка охладила его рваческий пыл; передумать тысячу дум, переволноваться, воскресить в памяти отгоревшую жизнь, воспарить душой и в итоге — очутиться перед запертой квартирой.

Проклиная бабскую бестолковость, себя за доверчивость и неуместную в его годы сентиментальность, Виктор в последний раз ожесточенно треснул кулаком в дверь. И еще раз, и еще!

За спиной его, в квартире напротив, тишком отлипло дверное полотнище. В щелке блестят чьи-то изучающие его глаза.

— Скажите... — Виктор подался туда, а щель вдруг распахнулась на всю ширину двери, и худенькая женщи-

на в застиранном, линялом халатике, с тощей луковкой волос на темени, с восторженным, тихим воплем: «Витенька!» — бросилась ему на шею.

«Надежда! — остолбенел Виктор. — Лаймина подруга. Но старая-то какая».

— Надя — ты? — он вежливо снял ее руки со своей шеи, отступил на шаг.

— Кто же еще! Я, конечно, я. — Надя сцепила руки на груди, глаза ее лучились таким счастьем, будто он приехал к ней. — Витюша, родненький! — Надя явно жаждала еще раз обнять его, но робела. — Говорила я ей, что придешь ты, а она не верила. Заходи же, заходи. Не разувайся, иди так. Не побрезгуй, что сюда зову, в комнате детки спят.

Захламленной прихожей, перешагнув через валявшийся самокат, оступившись на детском ботинке, Виктор прошел на кухню — грязноватый закуток, куда они, бывало, забегали с парнями дернуть по стакашку домашнего яблочного винца. Надюха в те годы была боевая девка.

— Садись, Витенька, присаживайся. — Надя обмахнула тряпкой табуретку. — Какой ты стал-то! Представительный, важный. — Надя смотрела на него с улыбкой любования и гордости. — Встретила б на улице, не признала.

— Не сочиняй, какой я важный. — Виктор стал у холдильника, слыша его мелкую трясущую дрожь. — А ты все здесь и ютишься?

— Тут, Витя, тут и горюю в этой норе. С самого рождения. Уж такая я несчастливая. — Надя принялась жаловаться на житье-бытье, как ее обманули на работе с квартирой, как мытарится она с мужем-пьячугой, как болит сердце о непутевом хулигане-сыне, опять залетевшем в тюрьму. Одна утеша — дочь да ее дети. Сама-то дочка живет в Лиепае, муж моряк, внучата приезжают на лето гостить к бабушке.

Виктор терпеливо слушал малоинтересный и в общем-то ненужный ему Надин рассказ, грустно думая, что она, в сущности, не изменилась, осталась такой же тараторкой и неряхой, все раскидано, где ни попало.

— Прости, пожалуйста, — улучив момент, перебил он ее, — а Лайма здесь не живет? Я телеграмму от нее получил. Что с ней, где она?

Надя поперхнулась, заморгала глазами, словно ждала этого вопроса и отдала его своим рассказом.

— Здесь, здесь и живет. Так всю жизнь и колотимся вместе. Сын ее, Вилис, квартиру трехкомнатную получил, с лоджией, улучшенной планировки, и невысоко — четвертый этаж, звал ее к себе жить, а она отказалась. — Надя внезапно сморщилась, дотронулась до плеча Виктора и заплакала. — Рак у нее, Витя. Последняя стадия. В больнице она, Лаймочка наша.

— Кто ж тогда телеграмму послал?

— Я. Во сне она тебя увидала, плачет, когда я проводить ее пришла: глянуть бы на Витю одним глазком и умереть. Я и сказала о телеграмме.

— Так она, значит, замужем? — спросил Виктор с ревнивым чувством, хотя положение из глупейшего превращалось в кошмарное: это ж придется встречаться с ее мужем. Ну, бабы!

— Нет, нет, — возразила Надя, — замужем она не была, хотя и врач, который ее лечит, и директор школы сватались к ней, даже из Риги приезжали. Ты ведь знаешь, какая она была. А Вилис, — Надя посмотрела в окно, откашлялась, — он же сын твой.

Холодильник, переключаясь, затрясся, как в припадке. Виктор вздрогнул и пережил давнее ощущение детства: Надя удвинулась куда-то вдаль, он видел ее, как в перевернутый бинокль.

— Мой сын? — сказал он посторонним глухим голосом. — Ты смеешься надо мной?

Крошечная Надя обиженно всплеснула кукольными ручками и пропищала от шумевшей ветровым пламенем газовой плиты:

— Так ты честно не знал, что Лайма беременной была, когда ты домой уехал? А мы думали...

Виктор остановил Надю, доставшую из кухонного столика чашки, сахарницу.

— Не нужно этого. Иди за мной.

— Витенька, чашечку чая с дороги, одну, — Надя догнала его в прихожей.

— Будет еще время, и не на одну.

В машине Виктор швырял в новенький клейкий пакет с эмблемой фирмы две банки сгущенного кофе,

литровый пакет кипрского виноградного сока, пачки печенья, апельсины, блок жевательной резинки, вложил коробку шоколадных конфет.

— Внукам твоим к чаю. — Он подал ей пакет. — Больница далеко отсюда?

— Рано ведь, Витя, не пустят тебя.

— Это уж моя забота. Говори — улица, этаж, палата.

### 3

Виктор предчувствовал, что едет в В. не на радость. Так и оказалось. Но — сын! Вот уж поистине не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Эта новость так ошеломила его, что на какое-то время совершенно заслонила собой думы о болезни Лаймы.

Он страстно желал иметь сына, а жена рожала одних дочерей. Родила трех и забастовала: хватит. Не разводиться же с ней из-за этого. Дочери выросли — грех жаловаться — домовитые, благонравные, мечта о сыне нашла замену во внуках, хотя порой все же мечталось (уже безнадежно) о преемнике, продолжателе рода.

А сын, оказывается, есть! Взрослый, выросший вдали от него сын. Почему так случилось? Кто виноват? Он сам, Лайма, комендант на станции, родители, тесть с тещей? Сейчас поздно искать виновника, похоже, виноваты были все, но странно думать — вся жизнь его могла сложиться иначе.

В вестибюле больницы плечистый дылда баскетбольного роста, в белом халате до колен и в шлепанцах на босу ногу старательно тер тряпкой на палке-валявке и без того глянцево блестевший линолеумный пол.

— Посещения больных с одиннадцати часов, читайте распорядок дня. — не поворачиваясь, бабьим гнусавым голоском сообщил он.

— Я по телеграмме приехал. Издалека.

— Разрешение есть? — работник прислонил палку к стене, обернулся, вытирая руки о полу халата, и предстал пожилой женщиной с грубым мужиковатым лицом.

— От кого? — спросил Виктор, дивясь на это чудо природы.

— От Яниса Арвидовича, главврача нашего.

— Понимаете, по телеграмме я. Только что приехал.

— Телеграмму.

Виктор подал согнутую вдвое бумажную полоску. Санитарка так долго изучала ее, что Виктор засомневался: грамотная ли она? Телеграмма была коротенькая, всего шесть слов: «Умоляю. Приезжай хоть на час. Лайма».

— К Лаймочке, значит, — завершив процесс чтения, подытожила санитарка, и нечто похожее на сочувствие утеплило ее взгляд. — Уж не тебя ли она ждет? Виктором звать?

Виктор, улыбнувшись, кивнул головой.

— Не улыбайся, — не одобрила санитарка, — ты в больнице. Паспорт.

Удерживая рвавшуюся наружу улыбку, Виктор готов был поклясться, что этот Сабонис в юбке, сверяя фотокарточку с оригиналом, принюхивается к нему.

— Проходи, — возвращая паспорт, сказала санитарка. — Смотри, не выдай, что я тебя пропустила, а то главврач мне голову оторвет.

«Если дотянется до нее», — подумал Виктор, улыбаясь.

Шагая больничным коридором, Виктор поражался царившей вокруг чистоте. Нечто подобное он видел в кино, а в жизни разве в школе сержантов, где старшина не слезал с суточного наряда. Но школе было далеко до больницы. Здесь все светилось чистотой — и вымытые окна, и свежеокрашенные полы, и белые двери. За этой неправдоподобной чистотой забывался даже больничный запах — тот мутный удушливый коктейль из хлорки, лекарств и нездоровья. В простенках к полу вились из плетеных, изящных корзинок кудрявые гирлянды зелени, а на стене коридора в два и три яруса, как в галерее, висели картины. Преимущественно репродукции из «Огонька». Одни пейзажи. Французские импрессионисты, латыши, немцы, есть и наши — Васильев, Левитан, Поленов.

Игривое вестибюльное настроение испарилось, и ни чистота, ни картины не могли заглушить нараставшую в душе тревогу. Может, вернуться? Попозже прийти.

Унимая заходившее в груди сердце, Виктор приблизился к нужной двери. Сейчас он увидит Лайму. С годами она, конечно, изменилась...

В одноместной палате на койке лежала и, очевидно, спала изможденная, остиженная, как новобранец, совсем седая, с провалившимися щеками старуха. Несомненно, он попал не туда. С подкатившей к горлу тошнотой (ох, как тут пахнет!) Виктор попятился, чтобы в незакрытую дверь юркнуть назад в коридор, но веки лежавшей затрепетали, и во взгляде открывшихся, огромных от худобы лица глаз Виктор прочел родное выражение, над которым были бессильны и болезнь, и годы.

Губы Лаймы искривились в жалкой улыбке, грудь поднялась на вздохе, веки снова смыкались, и светлые ниточки слез пролегли к вискам.

Виктор присел на край койки, с каждым мгновением узнавая Лайму, бережно взял лежавшую поверх одеяла обтянутую сухой, желтой кожей костлявую руку с черно-лиловыми пятнами гематом на кисти (от внутривенных уколов), поднес к губам.

— Здравствуй.

Она, не открывая глаз, чуть качнула головой.

— Давно приехал? — прошептала она.

— Только что. Сперва в Муйжу<sup>1</sup> завернул. Надя сказала, где ты.

— Быстро. — Лайма посмотрела на него усталым, но со сбывающейся радостью взглядом, подняла руку, провела по его щеке. — Самолетом, поездом?

---

<sup>1</sup> Muiza — предместье (латышск.).

— На машине. Самолеты от нас в Ригу теперь не летают, а поездом я бы только послезавтра приехал.

— Долго же ехать. Притомился, наверное?

— А что делать. Зато теперь я здесь.

Они помолчали, неотрывно разглядывая друг друга.

— Нагнись. — Лайма гладила его затылок, шею. Виктор видел ее лоб, милую родинку на левом ухе и глаза, жадно скользившие по его лицу.

— Седой стал.

«Поседеешь с вами», — чуть было дежурно не отшутился Виктор. Он положил ладонь возле ее головы, подмигнул дружески:

— Оба мы с тобой постарели, Разинечка моя.

Лайма открыла рот, словно в приступе удушья, вцепилась в его ладонь и бурно заплакала, целуя ладонь и прижимая ее к мокрой от слез щеке.

— Не плачь, не плачь. Успокойся, — растерянно говорил Виктор, не ожидавший, что давнее, шутливое, только что припомнившееся ему прозвище так взволнует Лайму.

— Ничего, — сглотнув рыдания, сказала она. — Сейчас пройдет. Господи, всю жизнь... всю жизнь, — она заплакала еще неудержимей. — Не сердись, мужчины не любят женских слез.

— Что ты, разве я могу сердиться на тебя? — Виктор сжал ее руку, а сам думал: как же спросить о сыне?

— Жене своей что ты сказал? — промокнув слезы полотенцем, содрогаясь от последних, почти беззвуч-

ных рыданий, спросила Лайма. — Как она отпустила тебя? Она ж у тебя строгая.

Виктор уголком полотенца остановил катившуюся по ее щеке слезинку.

— Я овдовел пять лет назад.

— Тоже болезнь?

— Несчастный случай... гололед...

— А я вот, Витенька, болею.

— Ничего, даст Бог, поправишься.

Лайма обреченно повела головой.

В палату кто-то зашел. Виктор оглянулся и вскочил с койки. Халат упал с плеч, он, не глядя, словил его. Хорошо, что Надя сказала ему, он сразу узнал вошедшего. Сын! Бог мой, какой красавец! Высокий, плечистый, с шапкой светло-русых волос. Похож на Лайму, но что-то неуловимое в лице, в поставе головы, в увереннном развороте широких плеч напоминало сержанта Огнева.

— Lab dien<sup>1</sup>, — приветливо, со скромной улыбкой первой встречи поздоровался молодой человек, как вдруг выражение замешательства пробежало по его лицу. Он понял, кто стоит перед ним. — Здравствуйте, — осекшимся голосом проговорил он, подавая загорелую крепкую ладонь.

— Здравствуй, здравствуй, — счастливым взглядом впиваясь в его лицо, словно ощупывая глазами

.....  
<sup>1</sup> Добрый день (латышск.).

каждую его черточку, сказал Виктор, отвечая на руко-  
пожатие.

— Вилис, — сказала Лайма, — это Виктор Сер-  
геевич.

— Я догадался, мама.

Виктор уступил сыну место на койке, тот отказался: «Сидите, сидите», — подсел к матери на табуретке. Лайма, прикрыв глаза, отдыхала, вложив свою ладонь в ладонь Виктора и пошевеливая в ней пальцами. Отец и сын исподволь постреливали друг на друга взглядами. Да, Вилис больше похож на мать, это часто бывает. Ее брови, разрез глаз, что-то в рисунке губ и, конечно, в ма-  
нере говорить. А форма головы, шея, руки — мои. Осан-  
кой же, статью он уродился в деда. Но ведь это же м о й  
сын! Да-а, ради этого стоило мчаться сюда, даже рискуя  
свернуть голову в каком-нибудь придорожном кювете  
или переругаться со всеми гаишниками, хотя б они были  
понатыканы через километр.

— Сколько погостишь? — спросила Лайма.

Вопрос ее застал Виктора врасплох. Он рассчиты-  
вал побывать здесь самое большее дня два-три.

— Поживем — увидим, — ответил он.

— Поживи несколько денечков. Не уезжай уж,  
дождись.

— Чего — дождись? — не сразу понял Виктор. — Ты  
что? Не смей думать про это!

— Ах, Витечка. Это так близко, как ты и подумать не  
можешь.

— Не надо, мам. Виктор Сергеевич, — Вилис посмотрел на него не таясь, — правильно сказал. Не думай, не говори.

— Хорошо, хорошо. Не буду, родные мои.

#### 4

Лайма страдала от неизлечимой болезни, и вместе с нею страдали близкие ей люди.

Старшая сестра ее, жившая в Даугавпилсе и сама часто хворавшая, приезжала навестить ее по выходным дням, но не каждую неделю. Обязанности сиделки при больной матери довелось исполнять Вилису. Весь отпуск он провел у ее койки. Можно бы брать дни за свой счет, но начальство их давало неохотно, а уйти с работы нельзя — найди-ка ее потом в таком городишке, как В. Семья у Вилиса по нынешним меркам большая — сыну пять лет, и полгода назад жена родила двойню: мальчика и девочку. Ночью Вилис дежурил у матери, а днем крутился на автофургоне по городским улицам (он работал шофером на хлебокомбинате) и вымотался за эти месяцы до крайности.

Уяснив положение дел, Виктор сказал, что, конечно, Вилису необходимо отдохнуть и в первую очередь как следует отоспаться, ведь с машиной шутки плохи, так и до беды недолго. Он подменит его.

Вилис ушел на работу. Лайма задремала. А Виктор видел лицо сына, слышал его голос и не мог насытиться

этими картинами. И ведь что получается, теперь у него стало семеро внучат!

В палату заходила санитарка, прибралась, умыла Лайму из таза. За ней впорхнула тоненькая, хрупкая, как стрекоза, медсестра, поставила Лайме градусник, украдкой осведомилась у Виктора, кто он. Дальний родственник. «Разрешение у вас есть?» «Конечно», — сорвал он.

В коридоре то возникал, то пропадал приближающийся шум.

— Утренний обход, утренний обход, — защебетала вбежавшая в палату медсестра, поправила подушку у Лаймы, выровняла край одеяла. — Тетя Лайма, проснитесь. Ой, что сейчас будет! — она вскинула пальчики к белоснежной кружевной наколке на воздушно взбитых волосах, подбежала к двери и отскочила от нее.

В палату походкой штангиста, идущего к решающему подходу (плечи округлены, грудь вперед), вошел сурово наступившийся крепыш в белом, в обтяжку, халате, в докторской шапочке, со стетоскопом на шее. Стекла очков в золотой оправе воинственно поблескивали. Видимо, он и есть здешний старшина — ревнитель стерильной чистоты и главный ценитель живописи.

Увидев Виктора, врач озадаченно вскинул левую бровь, что-то отрывисто спросил по-латышски. Виктор разобрал только первое слово: «*Sveiki*<sup>1</sup>».

-----  
<sup>1</sup> Здравствуйте (латышск.).

— Простите, я не знаю латышского языка, — начал он. — Я приехал...

— Почему посторонний человек в палате? — грозно вопросил врач.

— Ему разрешили, — робко сказала тоненькая сестра.

— Кто? — гремел врач.

— Он сказал, что вы.

— Какая беспардонная ложь! — возмутился врач. — Да кто вы такой?

Если бы Виктор не провинился ложью, он бы заметил, что так громко говорить в палате больного не принято, но, не желая усугубить свой проступок дерзостью, сказал покорно.

— Я приехал из России. По телеграмме. — И, как санитарке в вестибюле, подал телеграмму врачу.

Румянец, вспыхнувший на щеках врача, отозвался розовыми пятнами на его лбу, подбородке, шее. Натягивая трубчатые, прозрачные жилы стетоскопа, он не моргая смотрел на Виктора. В его взгляде читалось любопытство и какое-то потрясение.

— А-ах, так это вы, — наконец, вымолвил врач, хотя Виктор видел его первый раз в жизни.

Впрочем, врач тут же овладел собой и назидательно, как бы читая нотацию сосунку-школьнику, указал:

— Лгать нехорошо. Некультурно.

— Я понимаю, — согласился Виктор.

— Ничего вы не понимаете, — вкладывая в эти слова недоступный пониманию Виктора подтекст, в той же

громовой тональности продолжил врач: — Итак, кто разрешил вам пройти сюда?

— Никто. Я сам пришел.

— Что значит — сам! Что значит — сам? Вы у себя в России распоряжайтесь как хотите, а здесь мы вам этого больше не позволим. У нас к больным можно проходить только с разрешения врача. Очистите помещение.

— Janis, — простонала Лайма, приподнялась на локтях над подушкой.

— Да что вы, — вскрикнул Виктор, — я мчусь, позабыв все, к (язык чуть не ляпнул «умирающей», но редактор-мозг исправил)... больной женщине, а вы меня выгоняете.

Врач покосился на Лайму и, катая желваки на челюстях, бросил через плечо:

— Вы превратно истолковали мои слова. Никто вас не выгоняет, но для посещения больной необходимо получить разрешение.

Виктор вытянул руки, как по стойке «смирно», и скзал с учтивым достоинством:

— Господин главврач (крепыш презрительно глянул на него), — я приехал издалека, получив от Лаймы Радзини известие о ее болезни. Прошу вашего разрешения навещать ее.

— Разрешаю. На время утреннего обхода и лечебных процедур предлагаю оставить медицинское учреждение.

## 5

Телеграмма, адресованная на старую квартиру, где Виктор давно уже не жил, не один час плутала по городу, прежде чем разыскала его.

Как и большинство людей его возраста, Виктор Огнев жил отложенной жизнью, когда все главные решения уже принты и человек бредет по жизненной тропе, как путник, не имеющий права на остановку. Путник поднимался на пригорки, сходил в низинки, однако большей частью шел и шел по равнине привычных, схожих, как близнецы, дней. Телеграмма была вестником из другого мира, из другой жизни, где многое было внове, где еще только предстояло выбирать и отказываться, любить и отрекаться. Краткая телеграмма пробила плотину будней, в брешь ринулся поток воспоминаний, сметая все на своем пути. Со дна старого сундука Виктор достал самодельный ватмановский конверт с армейскими письмами и фотографиями. Ребята-сослуживцы, офицеры, летний лагерь, строевой плац. Все вспомнилось вдруг сразу. Он захлебнулся воспоминаниями. Первые дни в части, отбои, подъемы, передвижения только строем, два месяца взаперти без увольнений, тоска по дому, школа сержантов, караулы, конвои, переезды роты в В., шум прибоя на взморье, полковые поверки, Братское кладбище в Риге, экскурсии в кино, на табачную фабрику, ночные стрельбы, самоубийство ефрейтора из первой роты, юбилей полка — все хлынуло в комнату, заговорило, запело, закомандовало, замаршировало,

зацвело давно поблекшими красками, повеяло давно отлетевшими ароматами. Словно дрогнула, как гора при землетрясении, вся его теперешняя обжитая, законопаченная от всяких сквозняков и треволнений, обиженная, самодовольная жизнь. И над этой жизнью, и над прежней была — ОНА.

...Над океаном пробудившихся воспоминаний, как солнце над суетой дней, плыла дивная красавица, красе которой никогда не было и не будет на земле. Ее чистое светлое чело украшал потемневший от старости искусной чеканки серебряный венец, который носила девушкой ее прабабка. Вились по воздуху две пурпурные ленты, скреплявшие края венца, а за плечами красавицы струилась шлейфом, плескалась, как Млечный путь среди звезд, чудо-коса. Льняное длинное платье с орнаментом Видземской волости по подолу облекало красавицу, как звезды мерцали ее глаза, как песня звучал ее голос, как малина на солнечной вырубке в ближнем лесу от казармы были алы и сладки ее губы. И эта красавица любила его, его одного. Красавица плыла над воспоминаниями, как облако над землей в лунную ночь, смотрела из многолетней дали на него поникшиими, выплаканными глазами. И как крик нестерпимой боли, летел к нему зов телеграммы...

Конечно, размышляя здраво, трезвым умом делового, пожившего человека, а не пылким сердцем безрассудного юноши, ехать никуда не следовало. Да, когда-то они любили друг друга, но кому в юности не горячила

кровь лихорадка любви? А сейчас они чужие друг другу люди, с разными вкусами и привычками. Приехать к когда-то близкому, а теперь чужому человеку, вымучивать из себя слова приветствия, вытягивать из души клещами осколки воспоминаний, выражать сочувствие, жалость. Ведь как ни скучна информация, содержащаяся в телеграмме, ясно, что ничего хорошего его там не ждет. Лайма, по всей видимости, больная, если не при смерти, и зовет его проститься. Не будет пользы от этой поездки, одни лишь переживания. Съездишь, вернешься с разбитым сердцем, с растревоженной душой. А воспоминания накатывались тяжкими волнами прибоя, кропили душу освежающими брызгами, и правильные, логичные выводы житейской мудрости слабели под их напором, таяли, как глыбы весеннего льда на берегу. Все эти годы, десятилетия он мечтал побывать там, в том славном латышском городке, где оставил частицу самого себя, но прятал, топил в делах и заботах эту мечту. Надо, надо поехать! Ты обязан, должен. В память прежней любви. Поехать, чтоб потом не казниться, не изводить себя сожалениями о том, что человек позвал тебя, а ты не захотел услышать, не бросился на помочь с нерассуждающим дерзновением юности, не подал милостыню человеку, которому ничего другого, быть может, уже и не нужно в жизни.

Итак, за дело! Первый звонок в гараж («Подготовьте через час “Ниву” по программе дальней поездки»), второй секретарю («Назначенное на завтра совещание с представителями лесобиржи переносится на следующую

неделю. Принесите мои извинения. Чрезвычайная ситуация») и третий младшей дочери.

— Ларочка, — сказал он, услышав в трубке ее голос. — Я уезжаю на пару-другую дней. Не скучайте без меня.

— Куда, если не секрет?

— В В.

Дочь закашлялась и, чтобы скрыть смущение, пошутила:

— За новой мамой?

У Виктора не было тайн в семье о годах его бурной юности.

— Я получил оттуда тревожную телеграмму. Пойми, я обязан поехать. Это мой долг. Приеду — все расскажу.

— Конечно, поезжай. Прости, если неудачно пошутила. Будь осторожен, о Латвии сейчас такое в газетах пишут!

— Не беспокойся, все будет хорошо. А насчет газет, ты помнишь, что говорил по этому поводу профессор Преображенский своему ассистенту Борменталю?

Дочь засмеялась...

## 6

На почте Виктор отправил домой факс, что доехал благополучно, прогулялся по центру города.

Былое напоминало о себе на каждом углу: в этом спортзале они играли в волейбол с командой ГПТУ, здесь разгружали по просьбе городских властей рефрижера-

тор с консервами, а в книжном магазине в увольнении ему привалила несказанная удача — он купил двухтомник Тютчева и ночью, после развода смены на посты, упивался в караулке его стихами.

Однако реальная жизнь перечеркивала воспоминания, отметала их. Улица Ленина переименована в Рижскую, у Мемориала героям войны не горит вечный огонь, много латышских вывесок на магазинах, хотя попадаются и прежние (руки, видно, еще не дошли), с параллельным русским текстом.

С крыльца универмага, куда он заходил купить заводную игрушку внуку (ему ее не продали: в Латвии введены визитки на промтовары), Виктор увидел за деревьями белевшую церковь.

В храме завершалась обедня. Певчие на клиросе нестройно запели: «Великого господина и отца нашего...» Поставив свечу у иконы дня на аналое, у Распятия, у храмового образа преподобному Сергию, Виктор подошел ко кресту.

— Вы не могли бы задержаться на минутку? — предлагая ему крест для целования, спросил священник.

Недоумевая, зачем он мог ему понадобиться, Виктор стал возле образа Богородицы «Умягчение злых сердец».

Недоумение его разрешилось скоро. В печи, где пекут просфоры, прогорел пол. Для его починки привезли два поддона кирпича. Крана нет, сбрасывать кирпич на землю — побьется много, а машину надо отпускать. Не пособит ли он в разгрузке?

На хозяйственном дворе Виктор открыл с шофером борт машины, забрался в кузов, надел рабочие рукавицы. Шофер, церковный сторож, алтарник образовали живой конвейер, к ним пристроились две старушки.

У стены просфорни — деревянного домика под зеленой крышей — росла стопа кирпичей, когда в калитке двора показался священник — отец Валерий, в скучной фейке и подряснике, перехваченном матерчатым пояском с текстом псалма на нем. Сноровисто подавая кирпичи, Виктор окинул его зорким взглядом. Он, пожалуй, ровесник ему. Лицо не старое, оживленное, умные глаза, но борода белая, такая длинная и волнистая, как у ветхозаветного пророка с иконы. Руки, которые он заложил большими пальцами за поясок, не рабочие, мягкие, кабинетные руки интеллигента.

— Принимайте, батюшка, работу, — подав последний кирпич, сказал Виктор и, спрыгнув на землю, сбивал ребром ладони красноватую пыль с брюк.

— Вот какого помощника Господь нам послал, — благословляя его, улыбчиво сказал священник. — Не здешний? Не встречал вас раньше в храме.

Виктор сказал, откуда приехал.

— О-о, из каких палестин к нам пожаловали, из Северной Фиваиды. И город ваш знаменитый, там ведь кирпич на голову Ивану Грозному упал. Что же вы, северяне, чуть царя не убили? — шутил отец Валерий.

— Это же легенда, не исторический факт, — отражая обвинение в попытке цареубийства, возражал Виктор.

— Не скажите. Что же он передумал столицу к вам переносить? Не жалеете? А вы, часом, не печник?

Виктор, смеясь, ответил, что часом нет.

— Уж больно ловко у вас с кирпичами получалось, — оглаживая Виктора взглядом незлобиво ватильковых глаз, сказал отец Валерий.

— Достигается частым упражнением.

— Булгакова цитируете, — подметил священник. — Какими судьбами к нам?

— Так, по одному делу, — стесняясь чужих людей, сказал Виктор.

— Ну что же, — не смутившись, что не получил прямого ответа, сказал священник, — да поможет вам Бог совершить его, как должно. Заходите, рады будем вас видеть.

Виктор спешил в больницу в приподнятом настроении. Усталость от долгой дороги, правда о болезни Лаймы, перепалка с врачом, все, что лежало жестким грузом на сердце, — смягчилось в церкви.

## 7

Оставшийся до вечера день Виктор провел в палате. Рассказал Лайме, где был, что видел.

Думалось, им будет о чем поговорить. Былая близость давала им возможность делиться самым сокровенным. Однако боязнь неосторожным намеком

пробудить былую боль обманутых, несбывшихся надежд. Лаймы заставляла Виктора молчать о прошлом. Они говорили только о детях. Виктор рассказывал о дочерях, о внуке Олежке, четырехлетнем бойкуше, которого уже сейчас не оттащить от пианино, видимо, музыкант растет, и до мельчайших подробностей высматривал о Вилисе: каким он был в детстве, что читал, чем увлекался. Сын почти точь-в-точь повторял его: был таким же непоседливым озорником, но учился хорошо, был пытливым, любознательным, не злым мальчишкой, и за это ему многое сходило с рук.

Чувствовалось, что Лайме приятно обновлять эти воспоминания, переживать их вместе с ним.

А когда в седьмом часу вечера сам Вилис пришел с работы, они уже втроем смеялись над его шалостями и проказами, за которые — что скрывать — ему чувствительно попадало от матери.

— Неужели и ремнем? — спросил Виктор.

— Ремнем, вицей, — с жалостливой миной на лице перечислял Вилис.

— Ой, бедный, — засмеялась Лайма. — Не прикидывайся, ведь и вправду поверят.

— А я так своих детей не бил, — оплошно побахвалился Виктор, но было уже поздно.

— Кто же девочек бьет, — сказала Лайма. — А Вилис... Если б у него был отец...

Виктор огорченно замотал головой, постучал кулаком по лбу.

Поскольку главврач разрешил посещать Лайму, Виктор полагал, что особого дозволения наочные дежурства не требуется, но Лайма сказала, что без этого не обойтись.

«Прямо как допуск на секретный объект», — думал Виктор, с неохотой отправляясь к главврачу.

Сидя на краю стола и покачивая ногой, врач увлеченно, перемежая речь вспышками хохота, говорил по телефону. Кабинет его меблирован обычно: письменный стол, застекленный шкаф с лекарствами и инструментарием, дерматиновая кушетка, длинный ряд стульев вдоль свободной стены, на отдельном столе компьютер и ксерокс.

Но была в кабинете и своя изюминка. Нет, даже две.

Над кушеткой в красивой багетовой раме висела репродукция картины Каспара Фридриха «Der Sommer»<sup>1</sup>, простенок же над головой врача занимала большая, в никелированной рамочке черно-белая фотография военного, в мундире с аксельбантами и тучей звезд на победоносном выпяченном щите груди.

Какое несовместимое соседство: творение романтичного мастера и прямолинейный взгляд вояки. Вкус у хозяина кабинета весьма своеобразный.

Положив трубку, главврач указал Виктору на кресло возле стола, что-то сказал по-латышски.

Виктор с легким замешательством напомнил, что этим языком не владеет.

---

<sup>1</sup> Лето (нем.).

— Ах, да. — Врач снял очки, протирал их кусочком бинта. — Так что у вас?

— Я вижу, вы любите Фридриха? — надеясь перекинуть дружеский мостик, сказал Виктор.

— Я слушаю вас. — Главврач, надев очки, не мигая смотрел на Виктора.

— Янис Арвидович, — Виктор послал сожалеющий взгляд влюбленной парочке в шалаше, — вы знаете, что состояние Лаймы крайне тяжелое, она нуждается в постоянном уходе. Разрешите мне дежурить у нее ночью.

— Не могу разрешить, — показывая интонацией, что вопрос этот не подлежит обсуждению, сказал врач. — У нее есть сын, невестка.

— У невестки трое детей на...

— Возможно.

— А Вилис днем работает. Он недосыпает...

— Послушайте, что за разговор? — пожал плечами врач. — Что за ахинею вы несете, в конце концов. Кто-то недосыпает, у кого-то трое детей. Какое я имею к этому отношение? Вы не какой-то юнец-солдат, а здравомыслящий человек, подумайте сами, как я могу оставить на ночь в больнице человека, который неизвестно кем приходится пациенту, не муж ей, не сват, не брат. Вы отдаете себе отчет, о чем просите?

— Янис Арвидович, — Виктор встал, перевел дыхание, — зачем же так? Конечно, я человек не без недостатков, но зачем подозревать во мне невесть кого?

— Да что вы, — с веселым любопытством смотрел на него врач. — А кто вам сообщил, что я подозреваю? Я охотно разделяю ваше убеждение, что вы — кристальной души человек, но я руководствуюсь инструкцией из департамента здравоохранения...

— Инструкция инструкцией...

— ...которая гласит: ночью в лечебном учреждении кроме медицинского персонала разрешается находиться только родственникам больных. На сей раз вы не рискнете утверждать, что являетесь одним из них?

— Может, мы как-то поладим, — не сдавался Виктор. — Я состоятельный человек, могу оказать вам материальную помощь...

— Что-о? — врач положил руку на телефон. — Взятка?

— Я предлагаю не лично вам, а больнице. Это можно представить как дар.

Главврач вытянул указательный палец в направлении двери.

— Янис Арвидович...

— Не дожидайтесь, чтобы я вызвал полицию. Вы свободны. Потрудитесь в течение получаса покинуть здание больницы.

Гнев, отчаяние душили Виктора. Давно, давно никто с ним не разговаривал таким тоном. Как ни бывал он утомлен, раздражен и даже зол на работе, он неуклонно держался со всеми, вплоть до сторожей и уборщиц,

в рамках деловой корректности. Ни грамма фамильярности, но и ни капли хамства. А сейчас он был оплеван и оскорблен. И за что? За добрый порыв души. Что сделал он этому невеже, чтобы он глумился над ним? А кто вам сообщил... кристальной души... не сват, не брат. О, как хотелось бросить в лицо этому пустоглазому хаму, что он черствая, бессердечная скотина. Но нужно было проглотить обиду, молчать и терпеть. Ради Лаймы, ради сына.

В палате он скромно рассказал о своей неудаче. Лайма, пригорюнившись, вздохнула, а Вилис с мрачной решимостью на лице ринулся к двери.

— Пустите меня, — вырывался он из рук Виктора. — Пустите, я ему все скажу. Он издевается над вами. Вы же ничего не знаете, а я...

— Не смей! Замолчи! — пронзительно крикнула Лайма, задыхаясь, упала на подушку.

— Ладно, не буду, — Вилис угрюмо отошел к окну.

— Ну, ваш главврач и фрукт, — опершись на спинку койки в ногах Лаймы, сказал Виктор.

Вилис прыснул у окна в ладонь, заливисто захохотал.

— Что такое? Я неправильно выразился?

— Очень правильно, — хохотал Вилис, — в самую точку. Его фамилия — Аболс, по-латышски «яблоко».

— Янис — хороший, добрый человек, — вступилась за врача Лайма, — но такой... — она замешкалась, подбирая слово.

— Упрямый, своенравный, — подсказывал Виктор.

— Нет, нет.

— Вредный, твердолобый, — ехидничал Вилис.

— Пунктуальный. Вот, — прошептала Лайма. — Ему нужно, чтоб все было по правилам.

— У меня его пунктуальность знаешь, мама, где сидит, — голос Вилиса задрожал. — Я вчера чуть в бензовоз не врезался. Надо, чтоб и меня сюда привезли?

— Прекрати, — осадил его Виктор. — Что ты мать пугаешь.

— Позовем его сюда, — с покрасневшими от прихлынувших слез глазами предложила Лайма. — Я сама попрошу.

— Нет, нет, звать никого не нужно, — воспротивился Виктор. — Зачем создавать заведомо тупиковую ситуацию? А если он засторачится, пойдет на принцип? Нас может выручить непредсказуемое, нестандартное решение. — Виктор зашагал по палате туда, обратно. — Надо что-то придумать, изобрести, учинить, на что-то решиться. — Он повернулся от двери и, озаренный чудной мыслью, негромко спросил: — Вилис, ты сможешь выдержать еще одну ночь, последнюю? А завтра все изменится.

— Что именно? — Вилис скептически поджал губы.

— Если на ночь разрешено оставаться только родственникам...

Не договорив, Виктор шагнул к койке, опустился возле нее на колени, взяв в ковшик своих ладоней пальцы Лаймы, глядя в ее близкие, темные от постоянно гложущей боли глаза, сказал:

— Лайма, дорогая моя, выход есть. И тогда никто не сможет разлучить нас. Ты согласна стать моей женой?

## 8

В детстве веселая резвушка Лайма ничем не выделялась среди сверстниц. Прыгала с ними со скакалкой, играла в «классы», дразнила мальчишек, шила платья для кукол, а зимой ходила кататься на гору, что заливалась на крутом, почти отвесном берегу реки, и к зависти многих мальчишек и восторгу подруг в числе редких смельчаков могла вихрем сомчаться с горы на ногах. Летом их класс отправлялся в походы к Турайдскому замку, Буртниекскому озеру, в этнографические экспедиции по хуторам, собирая для школьного музея старинные вещи, записывая дайны, сказки, воспоминания старожилов.

К шестнадцати годам о Лайме вдруг заговорили все. С милыми чертами лица, голубыми глазами, длинной пушистой косой, с грудным певучим голосом и горделивой осанкой, она кружила головы как ровесникам, так и юношам из старших классов. Чтобы посмотреть на нее (а повезет — и станцевать), на школьные балы приходили ребята из других городских школ.

Ухажеров было не счеть, но Лайма ко всем относилась одинаково безразлично. Никто из воздыхателей не мог похвалиться ее благосклонностью. Ее обзывали гордячкой, недотрогой, говорили, что она копается,

пророчили ей остататься в старых девах, распускали про нее слухи и сплетни.

Как же все были потрясены и возмущены, когда по В. разнеслась весть, что красавица Лайма гуляет с солдатом из конвойной роты, размещавшейся на окраине города! Ведь солдат — это ненадежное перекати-поле: нынче здесь, завтра там. Ее стыдили, убеждали порвать с солдатом и мать, и сестра, и школьная учительница, позванная матерью на подмогу. Исчерпав разумные доводы, мать грубо, без обиняков сказала ей, что бывает с безмозглыми дурами, поверившими солдатам. Лайма стояла на своем. Выйдя из себя, мать сгоряча отстегала дочку подвернувшейся под руку авоськой. Закусив губы, Лайма вытерпела экзекуцию, а вечером убежала из дома и двое суток жила в стогу сена на лугу.

Улеглись слухи, рассеялись поклонники, смирилась мать, но один человек ни за что не хотел смириться.

Янис Аболс — признанный лидер городской молодежи, честолюбивый, умный юноша, книгочей и патриот, уже давно думал о Лайме как о невесте. Учились они в разных школах, но встречались на репетициях детского и молодежного городского хора. Одному Янису среди сонма обожателей позволялось провожать Лайму домой. А однажды она даже подарила ему поцелуй.

Поступок Лаймы кровно оскорбил его. «Неужели среди своих ребят нет никого, кто бы понравился тебе? — упрекал он ее. — Зачем ты выбрала чужака?» Лайма отрезала, что это ее личное дело и ни перед кем

она отчитываться не намерена. Порой она испытывала что-то вроде стыда, что полюбила не земляка, но ничего не могла поделать с собой. Она думала о любимом дни и ночи, и летним утром не раз выходила к тополю на дороге, мимо которого рота пробегала на зарядку, чтобы только увидеть, как Витя махнет ей рукой.

Янис задумал подстеречь залетного донжуана и задать ему хорошую взбучку, но, верный семейному обычаю, посоветовался с отцом. Добродушно потрепав его по голове, отец выразил сожаление, что такая достойная девушка, как Лайма, увлеклась солдатом, но сердцу не прикажешь, и кулаки — скверный аргумент в любви. А затем уже вполне серьезно внушил сыну, что он не имеет права забывать о своем дяде, старшем брате отца, если мечтает стать врачом. «Ты подумал, — сказал отец, — как могут оценить твою драку с солдатом, если она получит огласку?»

Окончив школу, Янис поступил в Ригу в медицинский институт, надев заветную студенческую кепочку с золотым позументом на околыше, а в середине первого семестра узнал, что произошло то, что предрекали опытные люди: Лаймин кавалер скрылся, оставив соблазненную девушку в положении.

Теперь каждую субботу, едва звонок возвещал о конце последней лекции, Янис, досадуя на черепашью скорость пригородного поезда, три часа тащился до В. Все выходные дни он пропадал у Лаймы, нянчился с ее ребенком, играл с ним, врачевал его детские хвори.

Надежда, что Лайма все-таки полюбит его, долго не оставляла Яниса.

Зимой, в день ее рождения, Янис с шиком прикатил на такси из Риги. Лайма у Симоновской церкви везла в гору санки с малышом. Янис поздравил ее, вручил живые цветы, подарок, подвез санки и в этот миг — словно снизошло на него особое, духовное зрение — он увидел: прежней Лаймы нет. Повяла, умерла ее пленительная красота. С морщинками у глаз, с первой сединой в выбившейся из-под берета челке, рядом с ним шла по снегу безучастная, обычная женщина, каких много. Чтобы увидеть такую женщину, вовсе не обязательно приезжать сюда каждое воскресенье из Риги.

Стажировался Янис в ГДР, защитил кандидатскую, женился, воспитал сына и дочь, тоже ставших врачами, и сегодня увидел того, с кем искал встречи четверть века назад. Какая гримаса судьбы, что лицом к лицу они сошлись у койки умирающей их бывшей возлюбленной.

Выше среднего роста, подтянутый, чуть сутулившийся, с пристальным, но не наглым взглядом доброжелательных серых глаз, этот человек обладал даром обаяния, который дополняет, а подчас и заменяет внешнюю красоту. Янис не мог отрицать, что он симпатичен ему врожденной элегантностью, сдержаным благородством слов и жестов, умением держаться с располагающим к себе достоинством. Возможно, сегодня он был с ним чересчур резок, несправедливо придирчив, хотя

инструкцию департамента здравоохранения надлежит исполнять неукоснительно.

Из домашнего кабинета Янис перешел на веранду, поднял раму окна. Из палисадника томно пахнуло цветущей сиренью, внизу слышался плеск порожистой реки, а в кустах пискнул и вдруг ударил ликующей трелью соловей.

«Какая же у них была любовь, — подумал Янис, и старая досада, зависть болезненно шевельнулась в душе, — если и через столько лет, когда даже родные теряют друг друга, он все-таки приехал к ней».

## 9

Желтая полоска солнечного луча переползла с гобеленовых оленей в Альпах на спинку дивана, ему на лицо.

Виктор повернулся на бок. Повалилось еще малость и — рота, подъем!

Вот здесь и жила она, голубка, *la paloma*, как певал он ей в юности кубинскую песню. Ширпотребовский гобелен, фанерный шифоньер, швейная машина у окна, старый комод, круглый стол, вешалка с проволочными крючками. Чисто, опрятно и — бедно. На комоде две вазы цветного стекла с бумажными цветами. И никакой современной мебели! Пресловутой стенки, и той нет.

Попрощавшись вчера с Лаймой в больнице, он еще успел застать в церкви священника и условиться о се-

годняшнем дне. Сюда пришел поздно, измученный и опустошенный (один такой день стоит полжизни), но до-стучался до Нади, попросил ее быть свидетельницей и вообще, чтоб помогла.

— Женишься? На Лайме? — косо разинув рот, оторопело спросила Надя. — Она же не сегодня-завтра...

— Не каркай, — запретил он ей говорить дальше, — раньше срока ведьму с косой не зови.

Как причудливо прядется нить жизни! Мог ли подумать он два десятка лет назад, что проснется на диване в этом невинном девичьем жилище и будет думать о женитьбе. И на ком? На умирающей старухе. Да почему — на старухе? Разве он женится на ней из жалости, из того богадельно-слезливого чувства, которое испытывают большинство людей при посещении больниц и инвалидных домов и которое выветривается у них, лишь только они эти заведения оставят?

Виктор поднялся с дивана, убрал постельное белье в нижний ящик комода, прочел дневное Евангелие, выгладил и надел свежую белую рубашку, повязал перед зеркалом в темной дубовой раме галстук. Решение, принятное им вчера, было единствено верным. Женившись на Лайме, он разрешал массу проблем: искупал часть вины перед ней; Вилис получал отца, а он сына (если сын этого захочет); и самое существенное — он становился независимым от капризов главврача, человека с виду культурного, а ведущего себя как неотесанный чурбан.

Из выпиленной лобзиком шкатулки на комоде он взял паспорт Лаймы, перебрал лежавшие под ним фотокарточки: Лайма, ее родители, Вилис. На обороте одной карточки написано: *Vilis. 16 gadi<sup>1</sup>*; и по-русски: копия Вити.

На середине комода под стеклом композиция: вырезки из газет конца шестидесятых годов, молодые Магомаев, Кристалинская, Кобзон, ноты песен «Тополя», «Королева красоты», «Не спеши». Тут же веером разложены открытки с видами его родного города: собор XVI века с колокольней, панорама набережной, вокзал, обелиск в честь основания города. И в центре всего — фотография молодого разгильдяя с сержантскими погонами, сидящего на столе для чистки оружия, в расстегнутой, как говоривал старшина, «до пупа» гимнастерке.

«Где она ее взяла? — отчего-то без радости разглядывая самого себя, подумал Виктор. — У меня такой нет».

Боже, что за сердце! Какая душа. Ведь вся квартира — это маленький музей памяти того сержанта. Время здесь остановлено, задержано, как в доме мисс Хэвишем.

За дверью шаги. Это Надя.

В машине Виктор передал Наде деньги, листок бумаги с перечнем покупок.

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup> Вилис. 16 лет (латышск.).

Сегодня ни клуб, ни сад, ни школьный стадион не вызывали наплыва воспоминаний, словно он и не уезжал отсюда никогда.

— Надь, — спросил он, выруливая на асфальт. — Ты врача этого давно знаешь?

— Яниса-то? Да как тебя.

Виктор взорвался на нее.

— Правда?

— Ой, Витька! — Надя, смеясь, припала к его плечу. — Да вы с Лаймой целовались-миловались, а он зу-бами от зависти скрипел. Он ведь тоже за ней ухлестывал, а когда ты уехал, я же говорила тебе, два раза к ней сватался... (Виктор присвистнул: многое объяснилось в поведении врача.) Только шиш ему чего обломилось. Так ему и надо, лабусу поганому. Лаймочка-то наша красавица была писаная, как актриса, все у ней на месте, а на евонную бабу посмотреть — тьфу! Ни тут, ни тут ничего нет, как в домино: пусто-пусто. — Надя злорадно иллюстрировала свой рассказ жестами.

Виктор мельком глянул на нее: как была она сейчас, с горевшим ненавистью взглядом, непохожа на затурканную, с готовностью к подхалимажу, повседневную Надю.

— Надюша, — Виктор привлек ее к себе правой рукой, — что с тобой? Он тебе-то плохого чего сделал?

— Он! — Надя повернула к нему лицо с глазами, полными слез. — Он тут у нас первый горлопан на латышских митингах. Послушал бы ты, чего он врет про нас. После войны у него из родни не то убили, не то посадили кого,

так его от слова «русский» трясет как бешеного. Когда памятник Владимиру Ильичу сбрасывали, он петлю ему на шею накинул, а потом краску какую-то в рот ему лил. Кто ему разрешил? Чего ему, гаду-латышу, наш дорогой Владимир Ильич сделал? Чего? — Надя обхватила руку Виктора, словно ища защиты, мешала вести машину, он сбросил скорость. — Ой, Витюнечка, — взахлеб говорила она, — что деется у нас тут, тошнехонько. Ошалели все, что ли? Белый свет ведь не мил становится. Солдатики погибли в войну, так на кладбище в одну ночь все тумбочки на могилках сковырнули. И мертвым спокоя не дают. В магазине продавщица, с первого класса знакомы, на танцах вместе парням головы дурили, она будто немая, а я переводчица при ней, ухохочешься. Теперь выкатит буркалы свои, как мороженый судак: говори по-нашески, а то хлеба не продам. О-о-ой, за что измывательство такое? Шпянят меня, что растяпа я, за сорок лет по-местному мерекать не выучилась, а на кой пес мне ихний язык учить было, коль сами латыши через одного по-русски балаболили, а как матюгаться приспичит, так все. А сейчас-то он и подавно в голову мою дурную не полезет, так оставьте же на старости лет, ради Бога, меня в покое, чего худого-то я вам сделала! Всю жизнь комбина-ту ихнему отдала, на больничном не сиживала, в трудовой благодарностей два вкладыша, грамотами хоть стену заместо обоев оклеивай. На них ведь горбатилась, не на себя одну. А чего заработала, какой капитал — расширение вен да астму.

Виктор затормозил у городского рынка, сидел, уставившись на походную икону Николая Угодника, дрожавшую на присоске у ветрового стекла. Монолог Нади ошеломил его. Читая статьи и заметки о событиях в Прибалтике, он не очень верил им, беря поправку на неминуемое газетное вранье. А это — правда. И какая!

— Вить, ты человек проученный, начальник, чего делать-то нам? Как быть?

— Откуда я знаю, — мрачно ответил Виктор. — Не уполномочен я такие ребусы решать. Давай будем делать дело, которое начали, а там увидим. Не тужи, как-нибудь все утрясется. — Он крепко прижал Надю к груди, чмокнул в темечко (от волос Нади пахло хозяйственным мылом) и открыл дверцу машины, выпуская ее.

## 10

Службы сегодня не было, лампады и свечи не горели, безлюдная церковь выглядела пустынно. Отец Валерий, одетый в светло-бежевый летний костюм, с саквояжем в правой руке, беседовал с женщиной за свечным ящиком.

Виктор перекрестился, подошел под благословение.

— Добрый день, добрый день, — благословил его священник. — Не рано?

— Наверно, нет.

— Тогда покупайте что нужно.

— А что нужно? — Виктор почувствовал, что краснеет.

Отец Валерий, деликатно кашлянув, спросил:

— Вы же говорили, что были женаты. Вы не венчанными жили?

Виктор конфузливо сказал, что он крестился только четыре года назад.

— Что ж, бывает, — снимая возникшую неловкость, мягко сказал священник, кивнул служительнице: — Сделайте все, как надо, а я пока в ризнице венцы возьму.

Виктор заворачивал в белое полотно венчальные свечи, иконы Спасителя и Богородицы, когда отец Валерий вышел из алтаря.

— Батюшка, — сказал Виктор, — я хочу пожертвовать на благоукрашение храма. — Он положил на угол свечного ящика пачку кредиток.

Священник и женщина за свечным ящиком переглянулись.

— Спасибо вам большое, — поблагодарил отец Валерий. — Но зачем так много?

— Мое дело дать, — пошутил Виктор.

— Отказываться я не буду, — пряча улыбку в усах, ответил священник, открыл саквояж. — Кладите сюда — свечи, образа.

Церковным притвором, на своде которого Христос воздел благословляющую десницу, они шли на улицу.

— Скажите, Виктор Сергеевич, а вы заручились согласием Яниса Арвидовича? — спросил отец Валерий.

— На что? Чтобы он разрешил мне жениться на Лайме?

Священник улыбнулся, погладил бороду и уже на улице сказал:

— Нет, до таких пережитков крепостничества или феодализма, как вам будет угодно, мы еще не докатились, но, понимаете, Янис Арвидович... может элементарно не пустить вас в больницу.

— Не имеет права.

— Имеет. Я от всей души приветствую ваше благое намерение покрыть грех блуда венцом, и чудесно, что невеста единодушна с вами, но разрешение посетить духовному лицу больницу, школу, места заключения принадлежит администрации. Янис Арвидович, по всеобщему мнению, специалист замечательный, каких поискать, но его характер, на который воздействуют нынешние ненормальные обстоятельства, этот разгул националистических страстей, вот что меня беспокоит.

— Прорвемся как-нибудь с Божьей помощью, — храбрился Виктор.

— Вам легко говорить, а святые отцы сравнивают страсти с вулканом, который оставляет вокруг себя опустошение и ужас. Что же остается думать о людях, страстями одержимых?

— Батюшка, неужели все так серьезно? — спросил Виктор. — Мне женщина одна об этом, как вы называете, разгуле минут пять назад говорила. Я подумал, может, преувеличивает она, женщинам свойственно это, из мухи слона делать.

Отец Валерий с легким прищуром, словно взвешивая, довериться иль нет, смотрел на Виктора.

— Присядем. Время еще терпит. Пустит нас врач, не пустит, успеем все равно.

Они сели на скамью у могильной ограды. Позади них возвышался крест из черного полированного мрамора с надписью по дореволюционной орфографии. Ветерок покачивал над могилой ветви плакучей березы.

Отец Валерий поскреб сухим прутиком землю.

— Вы у себя в России, Виктор Сергеевич, вообразить не можете, в каком положении нынче находятся мои прихожане, просто русские люди в Латвии — вчерашие санитарки, медсестры, ткачихи, учителя. Оказаться на склоне лет чужой мужу, детям — тяжело, но, к прискорбию, это не столь уж редкая жизненная коллизия, и люди как-то смыкаются с ней. Но оказаться вдруг ненужным стране, в которую ты жизнь свою положил, отдал ей свой труд, свои надежды, свое счастье видел в ее счастье, а тебя сейчас из нее выкидывают, это тяжелее во сто крат. Как вместить в душу, оправдать сердцем, когда человека выгоняют из дома, из города, который он построил, где проложил дороги, устроил водопровод, свет? Сколько горя сейчас вокруг, сколько несчастных людей накладывают на себя руки. — Священник сломил прутик, положил обломки за оградку. — И словцо-то какое для русских позорное отыскали, из чулана лживого вытащили — «оккупанты». Это мы — оккупанты! Мы на этой земле — по меньшей мере с XII ве-

ка, преизобильно удобренной русским потом и кровью. Латышское название России — Krivia говорит о незапамятной древности, о племени кривичей, что жили рядом с древними племенами, из которых образовался латышский народ. Еще в XII веке русские князья помогали латышам в их борьбе с Ливонским орденом. Название нашего города происходит от имени Псковского князя. Вплоть до XVIII века эту землю рвали на куски то Ливонский орден, то Польша, то Швеция. Только оказавшись в составе Российской империи латышские земли Латгале, Курземе, Земгале и наше Видземе собрались во единое целое, что сейчас называется Латвией. Национальное движение латышей, когда они начали осознавать себя народом, а не сбиращем батраков и прислужников у остзейских немцев, связано с Россией и поддерживалось ею. Первая газета на латышском языке, проникнутая именно национальным духом, вышла в Петербурге, в Риге напечатать ее было невозможно. Создателю эпоса «Лачплесис» поэту Андрею Пумпуру (кстати, впоследствии офицеру русской армии), мечтавшему учиться дальше, немецкий пастор заявил, что для латыша достаточно приходской школы. Поэтому неудивительно, что все основоположники национальной культуры Латвии получили специальное высшее образование в России. Музыка — Витол и Калниньш, скульптура — Зале и Залькальн, архитектура — Бауманис, живопись — Пурвитис и Розенталь, литература — Райнис и Розитис. В латышском фольклоре

отрицательные герои — черт или немец, но ни в коем случае русский. А народную душу не обманешь.

В ораторском искусстве есть прием — фигура умолчания. Решающий вклад России в историю культуры Латвии — нынче такая фигура. Кому-то выгодно историю взаимоотношений наших стран отсчитывать от 1940 года, когда «кровожадная» Россия оккупировала беззащитную Латвию. Но вспомним революцию. Нынче модно говорить о руководящей роли евреев в революции и гражданской войне. А где еврей, там и латыш. В одной шеренге Троцкий, Свердлов, Урицкий, а в другой...

— По-армейски: на первый-второй рассчитайся, — вставил Виктор.

— ...Берзинь, Петерс, Лацис, со своими стрелками залившие Россию кровью. Всюду были они — краса и гордость революции. Они охраняли Ленина, «освободителя» русского народа от веками накопленных богатств, они расстреливали нашего царя с царицей и их детками. Трудно назвать губернский город, где бы не стоял полк или батальон прославленных своими карательными подвигами латышей. Об этой оккупации теперешние борцы за историческую правду помалкивают.

А после Великой Отечественной войны за чей счет восстановили разбитую в пух и прах Латвию? За счет России. На чьи деньги построен современный Рижский порт, от которого Россия теперь не получает ни гроша? За счет республиканского бюджета? А на основе чего создавался этот бюджет, в какой бюджет он входил со-

ставной частью? С 1940 по 1960 год производство здесь выросло в десять раз, создали девять новых Латвий, а сами как жили? При Ульманисе Латвия (и вся Прибалтика той поры) была задворками Европы, а в Советском Союзе из нее сделали витрину великого государства.

Вот и судите, Виктор Сергеевич, серьезно это или нет? Ничто не вечно. Хотите получить независимость? Получите, если так хочется, но зачем людей топтать, которые кроме добра вам ничего не сделали?

Отец Валерий замолчал.

— Три года я тут служил, — сказал Виктор, — а слышу это впервые. Политруки нас совсем другой кашей потчевали.

— Еще бы. А я разве в те годы посмел бы что-нибудь подобное сказать?

— Батюшка, и никакой надежды? У меня в Риге бывший ротный и замполит батальона живут. Старики оба, жалко ведь их.

— Без надежды нельзя жить. На исповеди такое доводится слышать, что если б не священный сан, впору с ума сойти. Бог, вы знаете, Орду переменил. Со временем и здесь все уляжется, возвратится в доброе русло, жили же в Латвии русские до сорокового года, никто их гражданами второго сорта не считал, не третировал, не лишал избирательных прав. Люди очень падки на дозволенный грех, а ведь в богословском, духовном смысле любовь выше национального. Истинный Бог, о Котором апостол

говорит, что Он есть любовь, национальности не имеет. А племенные, местные божки имеют ее.

— Так это значит, — сделал вывод Виктор, — национализм — язычество.

— Когда он выливается в чувство превосходства над другими народами, — вне сомнения. Национальности необходимы, красота жизни, сама возможность ее — в ее многообразии. Допустите, что на Земле одна порода животных, птиц, один вид деревьев, цветов, один народ, один язык, — это вырождение. Но национальности должны жить в любви. Когда из своей нации создают идола, это очень опасно. Идолы, как известно, требуют человеческих жертвоприношений.

На ограду соседней могилы села синичка. Поверив своей головенкой, что-то чирикнула, словно прислушиваясь к их разговору. Дуновение ветерка взъерошило нежный желтоватый пушок на ее грудке. Священник и Виктор глянули на пернатую гостью и оба подумали об одном.

— Пора, пора идти. — Отец Валерий взял саквояж. — Как знать, может и получим мы от ворот поворот, но идти все равно надо. Еще нужно в загс завернуть.

Заведующая загсом, Алида Фрицевна, тучная латышка с темными кудряшками прически и короткими, толстыми пальцами в золотых кольцах и перстнях (ни дать ни взять продавщица из овощного магазина где-нибудь в средней полосе России), не дослушала Виктора, сбивчиво и путано излагавшего свою просьбу:

после разговора у церкви он готов был в каждом местном жителе видеть «красного стрелка».

— Я все поняла, — ласково остановила она его. — Зачем вы так волнуетесь? Когда это нужно? Сегодня, завтра?

— Сейчас.

Она полистала перекидной календарь, пометила в нем карандашом, достала из сейфа большую казенную книгу и коробочку с печатью.

— Идемте. Вас, вероятно, Виктором звать?

— Да, — Виктор засмеялся. — Я вижу, меня чуть не вся В. знает.

— А что вы смеетесь, — выходя на мраморную лестницу, по которой счастливые молодожены поднимаются в зал торжеств, и спускаясь по ней, говорила заведующая. — Городок наш невелик, все тут друг другу знакомые да родные. А с Лаймой мы подружки с малых лет. Она, Надя и я — неразлучная троица. Я о вас давно наслышана.

На последней ступеньке лестницы заведующая замедлила шаг и, по-учительски строго глядя на него, сказала:

— Признаться, я была худшего мнения о вас. Скажите чистосердечно, разве нет вашей вины, что Лайма сейчас на краю смерти? Ах, мужчины, мужчины!

Виктор, понурив голову, залился краской стыда. Эта с виду туповатая, недалекая женщина пусть бесцеремонно, но справедливо, по совести обличила его.

Он промямлил нечто невразумительное, скорее отвояя перед заведующей резную, с начищенными медными ручками дверь загса.

Заведующая удивилась, увидев в машине отца Валерия. Виктор объяснил ей, что она зарегистрирует гражданский брак, а священник совершил Таинство венчания.

— Я ж говорил, батюшка, прорвемся! — воодушевленный легкостью, с какой уладилась проблема с загсом, сказал Виктор.

— Цыплят по осени считают, — постучав пальцами по саквояжу, не разделил его преждевременной радости священник.

— А что такое? — грузно усаживаясь в машине, полюбопытствовала заведующая. — Какие-то затруднения?

Виктор поделился их опасениями.

— Кого это он не пустит? — воскликнула заведующая. — Меня? Да я всю его больницу по щепочке разнесу. Меня, к моей Лаймочке?! Я в тюрьму хожу людей расписывать. Воров, негодяев. Да я этого доктора в школе...

Виктор и отец Валерий, получившие такого весомого союзника, восторженно внимали героической саге о том, как во втором классе Алида отодрала Яниса за волосы, как затем он напал на нее с дружками из засады и она, удирая, пряталась от них за поленницей дров.

— Но я потом ему попомнила! — стукнув кулаком по подголовнику сиденья Виктора, поставила победную

точку Алида. Заметив, что они переглядываются в зеркале, она подловила их взгляд и задорно, как девчонка, мигнула им.

У рынка с двумя бокастыми, раздувшимися сумками и огромнейшим букетом белых роз их ждала Надя.

## 11

Мелкая кирпичная крошка на главной аллее больничного парка уныло похрупывала под ногами.

На крыльце больницы среди медсестер, как полководец среди адъютантов, стоял грозный главврач. Отмахивая рукой туда и сюда, он раздавал им поручения и заодно распекал за лень и нерасторопность. Звучность его голоса была такой же, как в палате. На митингах он, должно быть, обходится без мегафона. Встречи с ним никак не избежать, но лучше, если б он был один. Хотя, как знать.

Виктор механически регистрировал впечатления и куцые мысли, мельтешившие в голове, стараясь ни на чем не задержаться надолго, чтобы не отвлечься и не забыть речь, которую он прилежно выстраивал в машине.

— Ну и куда мы идем? — скрестив руки на груди, отстукивая носком правой ноги маршевый ритм, с ехидной усмешкой спросил главврач.

Виктор поставил Надины сумки на землю, оглянулся на снявшую шляпу и прижавшего ее к груди отца

Валерия, на втянувшую голову в плечи, как перепуганный заморыш-птенец, Надю, на рвавшуюся в бой Алиду, и все заготовленные слова разом выскочили из головы. Колени у него задрожали, как не дрожали ни на одном экзамене и ни в одной драке (даже в кровавой потасовке в Юрмале, когда они махались бляхами с матросней), и вдруг подумалось ему, что венчание нужно не только им с Лаймой, но и отцу Валерию, и Наде, и Алиде, и врачу, и сестрам.

И не только обдуманные слова, но и все имеющие название людские чувства пропали куда-то — стыд, осторожность, самолюбие, гордость. Осталось одно чувство, которое влекло, вело, толкало его туда, к дверям палаты, где лежала женщина, человек, которого не рок, не судьба, а именно он лишил сполна заслуженного счастья. Он мог возместить крохи его и ради этого готов был на все — открыть свою душу до самого дна, унизиться до каких угодно пределов, упасть на колени, умолять, чтобы его допустили к ней. Силой достичь этого было нельзя, а только добром, чтобы человек, от которого зависит решение, поверил тебе.

— Уважаемый Янис Арвидович, — посылая не только свой взгляд в самую сердцевину глаз врача, но и всего себя, словно всю душу свою хотел он перелить ему в этом взгляде, говорил Виктор, — когда-то я служил в вашем городе солдатом. Здесь я повстречал Лайму Радзиню, и мы полюбили друг друга. Но затем расстались. Так получилось, что Лайма родила и воспитала... нашего

сына. Я не лгу, я не знал о нем. Когда Лайма заболела, я приехал сюда. Чтобы как-то загладить, искупить свою вину перед ней и, наверное, перед всеми вами, я решил жениться на ней. (Одна медсестра, подраненno вскрикнув, села на край крыльца.) Я надеюсь на вашу помощь и сочувствие.

Виктор тоже бы сел, где стоял, как эта сестра (силы оставили его), но этого позволить было нельзя.

Внимая словам этого глубоко чуждого ему человека, пропуская его взгляд к себе в душу, как домой, подпадая под обаяние той самозабвенной искренности и доверия, какими дышали его слова, Янис находил в его голосе, взгляде много такого, чего не видел и не хотел видеть и слышать еще вчера. Он видел в нем не приезжего назойливого посетителя, не чужака, бывшего врага, соперника, а человека, который стучится в твое сердце с добром, с любовью.

— Конечно, проходите, — тихо сказал он, уступая дорогу. — Разве я против.

...В изголовье кровати Лаймы благоухал букет роз. Переодетая из больничной сорочки в пеньюар с кружевными рукавами, Лайма выглядела поздоровевшей, в глазах исчез сухой страдальческий блеск, поблекла желтизна лица, с губ не сходила праздничная улыбка.

Сразу же получилась загвоздка. У невесты свидетелем была Надя, а у Виктора в городе был один знакомый мужчина — Вилис. В свидетели он не годился, да и вообще он работал.

— В исключительных случаях допускается регистрация без свидетеля, — сказала Алида.

— Да лучше бы все совершил чин по чину, — обронил заметно приободрившийся отец Валерий, выкладывая на два сдвинутых стула из саквояжа все потребное для совершения Таинства. — Кто же жениху, северянину, — он хитро покосился на Виктора, — венец держать будет?

— Тоже мне — гордиев узел, разрубить некому, — заворчал Янис. — Я — свидетель! Ну чего вы на меня так смотрите? На питекантропа я не похож. Невеста «за»?

— Protams<sup>1</sup>, — улыбнулась Лайма.

По совершении формальностей молодые расписались в загсовской книге, после чего Алида объявила их мужем и женой и предложила обменяться первым супружеским поцелуем.

— И потом еще нужно будет? — Лайма указала взглядом на священника.

— Всенепременно, — отчеканил Виктор.

— И он тоже будет первым?

— Он первым и будет, а этот — генеральная репетиция.

С забившимся сердцем он склонился над милым лицом, исхудальные руки обвились вокруг шеи, и губы его прикоснулись к бледным, усохшим дорогим губам.

Зажглись свечи, позывая к цепочкой, закачалось кадило.

.....  
<sup>1</sup> Конечно (латышск.).

— Я для вас ладан особый взял, — говорил отец Валерий. — С Афона послали мне на прошлую Пасху кропоточку. Я из нее по высокоторжественным случаям ладан беру.

Священник взмахнул кадилом, подал возглас:

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

— А-а-аминь, — пропел Виктор.

...В палате голубоватым туманцем колыхался душистый дым ладана, блестели капли святой воды, которой отец Валерий окропил палату и всех присутствовавших, на подоконнике стояли порожние бутылки шампанского, а на полу серебрился комочек конфетной фольги — свидетельницы скоротечного свадебного пира.

— Как жаль, что Вилиса нет, — сказала Лайма. — Он был бы так рад.

— Еще порадуется. — Виктор надел ей на руку янтарный браслет — свадебный подарок.

— Что же я тебе подарю? — любуясь браслетом, спросила Лайма.

— Живи дольше, это единственный подарок, который я хочу получить от тебя, — сказал Виктор и прочел:

*В твоем миру живя,  
Душа беспечна.  
Будь жизнь долгая твоя,  
Держава вечна.*

— Твои стихи?

— Куда мне, Разинечка. — Виктор прикоснулся к кончику ее носа. — Это Гете.

— А-а. Какое-то другое его стихотворение ты мне читал. Длинное-предлестное.

— Наверно, «Коринфскую невесту». Что ты еще помнишь?

— Как звезды учил находить, — с радостью припоминания сказала Лайма.

— По этим звездам я и пришел к тебе. — Виктор поднес к губам ее ладонь, когда-то горячую, полную и упругую, а теперь состоявшую только из костей да сухожилий, которые, подобно вязальным спицам, передвигались под пергаментной кожей.

## 12

Они безумно любили друг друга, а расстались нелепо и — кто мог подумать — навсегда. Днем они поссорились из-за какой-то чепухи, которая в тот же день забылась, а вечером ротный собрал «стариков» в ленкомнате и сказал:

— Должен вас, орелики, обрадовать: звонил командир полка, разрешил трех человек уволить домой. Вы выполнили наш уговор, в юбилей Октября не допустили нарушений и молодым не дали, предоставляю выбор на ваше усмотрение.

Ротный вышел. Все притихли. Дембель, которого ждали три года, о котором мечтали караульными бес-

сонными ночами, на стрельбище, в кухонных нарядах, — близок, рядом. Кто-то заорал: «Ура!», все подхватили и начали обниматься. Чтобы не было обиды, кому ехать, порешили кинуть жребий. Выгребли из карманов имевшуюся наличность, отделили шестнадцать двушек, царапнули штыком, взятым у дневального, три из них ивысыпали монеты в пилотку. Одна из трех монет выпала ему, вечному удачнику.

Остаток дня заняли сборы: надо почистить, смазать и сдать оружие, получить у старшины парадный мундир и дембельские сапоги. После отбоя он побежал мириться к Лайме, а она показала характер и усвистала к сестре в Даугавпилс.

На завтра в штабе полка он получил проездные документы, простился с братвой в батальоне, и вечером московский поезд повез его домой.

Ребята-однополчане и солдаты из других частей, понятное дело, сразу «загудели». Он уединился в тамбури, и только показались огни Даугавпилса, в нетерпении открыл вагонную дверь.

На перроне его сцепал патруль. Рванул бы он от них — ищи ветра в поле! — как бывало в самоволках, но с чемоданом? Да и с какой стати он, дембель, будет от кого-то бегать? Отслужил ведь, отбухал законное, можно же по-людски договориться. Начальник патруля — толстопузый, туполобый, с красным, как перец, носом горького пьяницы, седой лейтенант повел его к коменданту. А комендант — тощий, как шомпол, черный от злости или

паскудности своей натуры майор зашипел, складывая губы куриным гузном: как он посмел, растакая мать, сойти на станции, коли у него нет разрешительной отметки в проездном документе? «Я имею право сделать в пути остановку до трех суток». «А я влуплю тебе сейчас "червонец" гауптвахты, — засипел майор, — тогда ты все спознаешь о своих правах. Покудова ты солдат. Сымешь шинельку, тогда делай, что хошь».

Вместе с «веселым другом чемоданом» его заключили в камеру. В бессильной ярости он мерил ее шагами, как лев в клетке, впервые за три года возненавидев шинель, погоны и свое солдатское звание. Чтоб показать, что не боится он ни коменданта, ни его «червонца» (эка невидалъ!), он откупорил бутылку рижского бальзама, купленного на вокзале в подарок отцу, нарезал колбасы, черного хлеба, взятого с полковой кухни, и сидел на полу, потягивая из бутылки.

За этим занятием и застал его майор.

— Герой, — ослабился он. — У вас в конвое все такие, — комендант выдержал паузу и припечатал: — приурки? Собирайся, — зарычал он, — растакая мать, расселся, понимаешь, как Теркин на привале.

В вагоне прибывшего следующего московского поезда, куда его втолкнул тот же выслужившийся из «кусков» седой лейтенант, он напился с горя с незнакомыми дембелями.

Дома, что ни день, подъезжали отслужившие друзья. Сегодня пили у одного, завтра гуляли у другого, после-

завтра керосинили у третьего. Стыдно, но первое письмо Лайме он написал едва ли не через месяц. В ответ длинное, на листках из ученической тетрадки, дышавшее любовью послание. Как она скучает и ждет его.

А он уже жил в преддверии свадьбы. Юная, нареченная ему невеста была так хороша, наивно-доверчива и мила, а родители с обеих сторон так спешили увенчать сватовство свадьбой! Отец Поли занимал солидный пост в обкоме, и его отец в городе был человеком далеко не последним. Родные, соседи, дядюшки и тетушки, которых он до свадьбы в глаза не видел, все уши ему прожужжали о завидной партии. «Дураком будешь, если упустишь такой шанс. Смотри, не проворонь удачу».

Да можно подумать, он сам был против. Нет, с эгоизмом молодости он охотно бросился в объятия новой любви. Менял же Гете своих возлюбленных. Лотта, Рика, Лили Шенеман. Какую только подлость, какое предательство нельзя подкрепить тьмой исторических примеров! Отчего же с такой легкостью не приходят на ум образцы верности и самоотверженной любви?

Писем от Лаймы больше не было. Годы спустя (у них уже родилась третья дочь) Поля призналась, что буквально на другой день после свадьбы нашла в почтовом ящике письмо с обратным латвийским адресом и, не читая, сожгла. Когда они вернулись из свадебного путешествия (круиз по Средиземному морю, это в те-то годы; путевки выбивал тесть), мать показала ей еще два таких письма, которые постигла та же участь. Правда ли, что

не читали они писем, — теперь никто не узнает. Да и кому это теперь нужно.

Легко все списать на обстоятельства, оправдаться пошлой фразой: так сложилась жизнь. Но обстоятельства создают люди. Тебе отказали в полку сделать отметку в документах. Штабистов можно понять, у них приказ: скорее выпроводить дембелей за пределы республики, чтобы чья-нибудь драка или пьянка не легли пятном на часть. Можно понять и коменданта. Но ты же почти наделю куролесил в Москве у друзей, с которыми сошелся в поезде. Разве сложно было переодеться в «гражданку» — и через день ты в Риге, а вечером в В.? Но что теперь вспоминать и думать, когда ничего уже не вернуть назад.

**13** Поставив «Ниву» на платную стоянку, Виктор поселился в больнице. Ночью дежурил у Лаймы, менял сырье простыни и клеенку, протирал пролежни, изредка поил ее клюквенным киселем, а когда Лайма забывалась сном, по совету отца Валерия, почти беззвучным шепотом читал Псалтири: ее чтение утишает страдания раковых больных.

В первое его дежурство в травматологии умер мужчина, рослый здоровяк, неделю назад разбившийся на мотоцикле и все семь дней не приходивший в сознание. Медсестре и двум санитаркам было не поднять его тело

с койки, чтобы доставить в больничный морг. Они призвали на помощь Виктора. И в последующие ночи он с дружелюбной готовностью исполнял просьбы сестер, а днем носил из столовой бачки с пищей, закинул раз узлы с бельем в машину, чтобы отвезти их в прачечную, исправил несложную поломку автоклава.

Сестры вербовали его устроиться на полставки медбратьем.

— Меньше чем на полторы не согласен, — рядился Виктор, — у меня ж одни ночные смены.

На время утреннего обхода и процедур, чтобы не нервировать своим присутствием врача, он скрывался в комнате санитарок, кемарил там часа три на кушетке и возвращался на пост.

Виктор не узнал Лайму в первый день не только потому, что она так исхудала, но и потому, что она была без косы.

А коса у молодой Лаймы была на загляденье. Солнечно-песочного цвета, с промельками густой тяжелой меди, толстая и пушистая, она канатом свисала ниже колен Лаймы. Сколько раз он расплетал ее, целуя щекочущие пряди, зарываясь в них лицом. Как-то он показал ей открытку с картиной Рибера «Святая Инесса». Лайма, царственно усмехнувшись, скинула халатик, оставшись в купальнике, присела и, распустив косу, укрылась ею, как золотистой шалью.

Теперь этой красоты не существовало. На вопрос, когда она остиглась, Лайма ответила:

— Когда Вилиса родила.

— Но зачем?

— А кому на нее было смотреть? Пишу тебе — ответов нет. Вилис родился, пришла на переговорный пункт, сказать тебе. Попалась на твою жену, она мне и прочитала лекцию о семье и браке. Дома на кухне я турым ножиком косу и отпилила. Да что уж. Как у вас, русских, говорится: снявши голову, по волосам не плачут.

Виктора покоробило «у вас русских». Мы ж теперь за одно. А Лайма, отвернувшись к стене, прошептала:

— Я повеситься после этого хотела.

Они долго-долго молчали. Виктор, стиснув виски кулаками, раскаивался, что вспомнил о косе, предчувствовал: добром разговор этот не кончится. В ее голосе прозвучали несломленные болезнью интонации молодой Лаймы, когда она могла сказать кому угодно прямо в глаза, что она о нем думает.

— Витя, — настолько тихо, что он даже подумал, не ослышался ли, позвала Лайма.

— Что?

— Ты любишь не меня.

— А кого?

— Ту девушку. Молодую. С косой. Как можно любить меня, больную, старую, гадкую.

— Но разве любят только тело? — увязая в трясине безумного разговора, спросил он.

— А что другое? Тебе было нужно только оно, ты получил его...

Виктор забегал по палате.

— Лайма, прекрати. Не хватало нам снова поссориться с тобой, чтоб все было как у людей.

— Помолчи, — зашлась она в крике. — Помолчи хоть раз в жизни, прошу тебя. Всегда ты был, всегда был прав. Витя все знает, все умеет, все объяснит, всему найдет причину. Не лги, не притворяйся, будь честен хоть раз в жизни, только раз. Тебе меня просто жалко.

Виктор смотрел на ее искаженное слезливой злобой лицо и, не думая, что делает, психанув, вышел из палаты. Мигом устыдившись, вернулся назад и обомлел. Обычно не в силах сама повернуться на бок, Лайма сейчас сидела на кровати, ногой нашаривая пол.

— Не уходи, не уходи, — тупо, как говорящая кукла, бормотала она.

Схватившись за кроватную спинку, она выпрямилась во весь рост (Виктор кинулся к ней, отпнув табуретку), пошатнулась (он подхватил ее на руки).

— Дурочка, глупая, — нежно журил он ее, целуя в щеку. — Ну чего ты вздумала, чего? Куда ж я уйду от тебя.

Лайма лежала на его руках не шелохнувшись, она была в обмороке. А когда очнулась, вела себя так, словно ничего не произошло.

Что это было? Желание хоть чем-то отплатить за пережитое, сделать так, чтоб и ему стало так же больно, как было ей? Чтобы и он сполна прочувствовал горечь, тоску обманутой, преданной любви?

Но, видимо, уже приспела пора, когда можно было заговорить с Лаймой о переезде. До каких же пор он будет дежурить здесь? Еще неделю, месяц, год? Дома его ждут дела. Он увезет Лайму, и его дом станет ее домом. Чтобы подготовить ее к разговору, Виктор затеял под вечер пересказ евангельской истории о воскрешении Лазаря.

Когда он рассказывал, что Господь прослезился, узнав о кончине Лазаря, на глазах Лаймы тоже выступили слезы. Они вызвали в душе Виктора вдохновенный подъем, он увлекся и, живописуя, повествовал, как влачился Господь с Марфой и Марией по каменистой знойной дороге к гробнице Лазаря.

Вот уже отвален камень от отверстия пещеры, Господь возносит молитву Творцу. Лайма притаенно перевела дыхание.

— Лазарь! —озвысил голос Виктор. — Гряди вон! И Лазарь, уже разлагавшийся, четырехдневный мертвец, обвитый погребальными пеленами, вышел из могильной пещеры.

— Ах! — с благоговейным трепетом выдохнула Лайма. — И ведь это правда?

— Такая же, как то, что я сижу перед тобой. Бог идже хощет, побеждается естества чин.

— Не поняла.

— То, что противоречит законам природы, — приступил к главному пункту своего плана Виктор, — что немыслимо для человека, — возможно у Бога. Все

дается по вере. Сестры Лазаря верили, что Господь воскресит их брата, и Он сделал это. Если ты будешь верить, что выздоровеешь...

— Как здорово, — не дослушала его Лайма. — Бог захотел — и ты приехал. Ведь так?

— Отчасти ты права, — сказал Виктор, — но я имел в виду...

— Добрый вечер, — сказал, входя в палату, Янис. — Или, как говорят в цивилизованной Прибалтике, lab vakars.

— Так говорят в ее латышском регионе, — уточнил Виктор.

— Абсолютно верно. — Янис сел у койки Лаймы. — Пожалуйте, ручку, — он смешливо хмыкнул, — госпожа Огнева, измерим ваше давление. — Врач обмотал вокруг руки Лаймы черную прорезиненную материю, нажимая оранжевую грушу, хмуро следил за показаниями манометра. — Отлично! — сказал он бодрым голосом, убирая прибор в карман халата. — Превосходно! Можешь сдавать нормы ГТО. Но не бойся, это тебе не грозит, ведь ГТО отменено в свободной Латвии.

— А разве свободной Латвии не нужны сильные и здоровые юноши и девушки? — спросил Виктор.

— Нужны, и даже очень, но, как сказал один небезызвестный вам товарищ, мы пойдем другим путем.

Янис понюхал увядающий букет роз на тумбочке, посмотрел на иконы, стоявшие под ним.

— Самая дисциплинированная больная, — сказал он. — Чувствуется — армейская закалка. Ничего не просит, ни на что не жалуется.

— У меня же все есть, — улыбнулась Лайма.

— Да, а как ты посмотришь, если я это все у тебя не-надолго позаимствую?

— Ненадолго?

— Не более чем на час, клянусь Даугавой. Вы при-нимаете мое приглашение?

— А Лайма? — спросил Виктор.

— Я пошлю к ней сестру.

— Janis, — что-то угадывая за наигранной веселостью врача, поманила его пальцем Лайма. Янис склонился над ней, Лайма вскинула руки (браслет шмыгнул по тощей руке от запястья до локтя), обняла его за шею, что-то лепетала на их родном языке.

Янис вполголоса, серьезно отвечал ей, но, бросив вбок взгляд на Виктора, громко сказал по-русски:

— Все будет в порядке, обещаю тебе. Я сегодня де-журный, стану заходить почаще.

14

Мимоходом встречаясь с Янисом в эти дни в больничном коридоре, Виктор примечал, что во всем суровом, волевом облике врача появилось что-то неуловимо дружелюбное. Виктор думал, что, быть может, он обманывает себя, выдает желаемое за действи-

тельное, но сейчас в палате это впечатление усилилось. Правда, настораживало балагурство врача — что за шуточки у одра смертельно больного человека!

В кабинете Янис убрал со стола папки с бумагами, повернул декоративное блюдце на стене — с перезвоном раскрылись дверца зеркального изнутри бара. На стол последовали плоская фляжка коньяка, два блюдца с бутербродами и ломтиками лимона, вазочки конфет.

— Присаживайся, — отбросив шутливость, сказал он Виктору, рассматривавшему фотопортрет военного. — Не против, что я на «ты»? Мы, можно сказать, товарищи по несчастью, а то и родственники, недаром же я над твоей головой ту штуку держал.

— Конечно, не против. Она венцом называется. — Виктор сел в памятное кресло у стола, взял налитую рюмку. — За что пьем?

— За что пьем... — Янис поднял рюмку и поставил ее. — Виктор, ты в самом деле глава фирмы?

— Да, — удивившись такому пирамиду в разговоре, сказал Виктор. — Я тебе говорил уже. Крупной. Разумеется, по нашим меркам.

— Объясни тогда мне, — возбужденно заговорил Янис. — Я допускаю, что человек может знать Каспара Фридриха, быть выдержаным, верующим, из моральных соображений, в конце концов, жениться на неизлечимо больной, но в голове моей не умещается, что глава фирмы, который может нанять сиделку, не спит ночами. Объяснимо и это, но он еще помогает

санитаркам, вплоть до того, что выносит из «уток». Это тоже правда?

Виктор, покраснев, мотнул головой. Из «утки» он вынес один раз. Баба Настя, та здоровенная, как баскетболист, санитарка, приказала, ей самой недосуг было. А что ему оставалось делать: назывался груздем...

— Почему ты это делаешь?

— Отец у меня был инвалидом первой группы, я с детства привык за больным ухаживать. Да что тут такого? Господь сказал: «Кто хочет быть больше всех, будь всем слуга».

— Красивые слова, — поводил перед глазами указательным пальцем Янис. — Не знаю, что еще твой Господь говорит, но я насмотрелся, как люди родных своих бросают, только про рак услышат. На танке их сюда не притащишь.

— Царские дочери за ранеными в лазаретах ходили, если на то пошло, а нам, грешным, и Сам Бог велел.

— Какие дочери?

— Царя нашего последнего, Николая Александровича.

— Ну, уж если дочери, — развел руками Янис, явно порываясь что-то прибавить в этом духе, но осекся. — Итак, за что пьем?

— Ты хозяин. — Виктор, намеревавшийся встать и уйти, если Янис пошутит о царских дочерях, снял руку с подлокотника кресла.

— Давай — за любовь! — сказал Янис.

— Тост неплохой, но абстрактный. Давай лучше — за болящую. За подружку нашу.

— За нее. В самый раз за нее пить, — голос Яниса дрогнул.

— А теперь вернемся к Фридриху, — посасывая ломтик лимона, сказал Виктор, — а то в тот раз, сдается мне, мы о нем не договорили.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — засмеялся Янис.

— А кто забудет — тому оба, между прочим. Не правда ли, удивительный художник?

— Великолепный! Гениальный! И малоизвестный, профессиональные художники не все его знают. Попалась мне на глаза его репродукция, я обмер, начал материалы о нем собирать и даже статейкой о нем в нашем художническом журнале разродился.

— Ишь ты! — восхитился Виктор. — Моя любимая его картина «Böhmische Landschaft»<sup>1</sup>.

— А мне нравится «Frau vor der untergehenden Sonne»<sup>2</sup> и «Der Mönch am Meer»<sup>3</sup> — какая могучая панорама стихии! А «Лето»! — Янис вскинул взгляд. — Чистый Клод Лоррен. Эта парочка в шалаше — немецкие Акид и Галатея.

— Лоррен? Я бы не сказал. У него колорит нежней, теплее.

---

<sup>1</sup> «Богемский ландшафт» (нем.).

<sup>2</sup> «Женщина перед заходящим солнцем» (нем.).

<sup>3</sup> «Монах на море» (нем.).

— Естественно, — загорячился Янис. — Лоррен — южанин, а Фридрих — сын Германии туманной. Но чистота красок, этот свет, эта любовь ко всему существу разве не роднят их?

Виктор смотрел на него с улыбкой и думал: «Мы оба так любим прекрасное, отчего же совсем недавно мы были почти врагами?»

— Все же, — сказал Виктор, когда Янис наливал по второй, — трогательно в ландшафте, что деревья тянутся друг к другу ветвями, как руками. Если бы я был художником, я написал бы картину, где они разделены не двумя саженями пространства, а тысячами верст, но так же стремятся друг к другу. Для этого, очевидно, нужен живописец вроде Сикейроса или Риверы, изображавших глобальные события. Хотя едва ли они справились бы с такой задачей. Это же лирика.

— Если не трагедия. Не люблю я, признаться, ни того, ни другого. Они маляры в живописи, как Маяковский в поэзии. Тут нужна чуткая, тонкая, как скальпель хирурга, кисть миниатюриста.

— И такой хирург был, — сказал Виктор.

— Кто?

— Твое здоровье, — Виктор чокнулся с Янисом, прочитал:

*На севере диком стоит одиноко  
На голой вершине сосна.  
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим  
Одета, как ризой, она.*

И так далее. В переводе искажен смысл, деревья женского рода — сосна и пальма. А в оригинал, у Гейне, пальма и кедр. Вот какого хирурга я имел в виду.

Они еще поговорили о Фридрихе. Виктор сказал, что любит латышскую живопись, а полотно Розенталя «Песня пастушки» просто считает шедевром.

— А где ты ее видел? — спросил Янис.

— В художественном музее. Когда наша рота стояла в Риге, в полку, я в увольнениях по музеям ходил, в Домском соборе бывал, в «Букинисте» меня узнавать начали, да нас сюда перевели.

Янис почесал в затылке, простодушно признался:

— Я думал, солдаты в увольнении только пьют.

— Не без этого, — посмеиваясь, сказал Виктор. — Но... имели место и другие поступки.

Сейчас, верно, был наиболее подходящий момент, чтобы завести более важный разговор.

— Скажи, пожалуйста, — после опасливых колебаний все же спросил Виктор, — правда, что ты Лукичу в рот краску какую-то лил?

— Лукичу? — не сразу понял Янис. — А, Карта-вому? Да, свинцовые белила. Знаешь, в древности отъявленным негодяям заливали глотку расплавленным свинцом. А ты что, любишь его?

— За что его любить. Однако дело не довели до конца. Его сбросили, а те трое, в шинелях на берегу Даугавы, стоят незыблемо.

— Вот ты о чем, — нахмурился Янис. — Эту тему я обсуждать отказываюсь. Не хочу ругаться с тобой.

— Отчего же ругаться? Именно теперь, когда мы с тобой почти друзья, когда мы видим, что у нас много общего, и нужно спокойно поговорить об этом. Ленин и те, в шинелях, делали одно дело — насаждали в России безбожную Совдепию. Ленина — долой, и по заслугам, а «рыцари революции» на пьедестале. Уточню, я не призываю к уничтожению памятников, к вандализму, моя точка зрения: если вы сказали «а», то скажите и «б».

Виктор приготовился выложить Янису все, что услышал от священника и что знал сам, но Янис, почувяв, куда он клонит, нанес упреждающий удар.

— Знаешь, кто это? — Он показал на фотографию на стене. — Мой дядя по отцу. Подполковник латвийской армии.

— Из латышских стрелков?

— Из латышских! Но не из красных. Когда немцы в сентябре семнадцатого года наступали на Ригу, он взводом командовал в сражении при Маза-Югле. Он Родину свою, мать-Латвию, защищал. В Россию с красными стрелками не ушел, ландскнехтом у большевиков быть не пожелал, в гражданской войне не участвовал, ни в единой капле русской крови не повинен. В армии независимой Латвии дослужился до полковника, а в сороковом году был арестован. Его боевые соратники покоятся на Братском кладбище, им цветы каждый год возлагают, а где он сгинул — никому неведомо. Может, зарыт на

Колыме в яме, как собака. А на мне с братом с детства клеймо: родственник репрессированного.

— Нас замполит на Братское кладбище водил, когда я в школе сержантов учился, — сказал Виктор.

— И среди красных стрелков разные люди были, — наступал Янис. — Как ни относись к усатому Фабрициусу, он погиб, а женщину с ребенком спас.

— Я о другом, — сопротивлялся Виктор. — Следует различать государство и конкретных людей. Совет народных депутатов, КПСС, НКВД — это одно, а русский народ — другое, зачем на него перекладывать вину государства? И нас ведь давили так же, как латышей. Так почему же русских в Латвии называют оккупантами? Вот наша Надя. Родилась после войны, никого не арестовывала, не убивала, прожила незаметную трудовую жизнь на пользу Латвии. Почему же ее сейчас унижают? В чем она виновата? Скажи, я похож на оккупанта?

— Ловко закрутил, — ответил Янис. — А кто же государство — КПСС, НКВД образует? Призраки? Ладно, ты на оккупанта не похож, скорей наоборот, но натянут на тебя гимнастерку, повесят на плечо АКМ и прикажут, станешь ты бегать по латвийским лесам, как советские солдаты после войны?

— Дело солдатское — подневольное. Но не солдаты виноваты, а кто приказ отдал. А твои земляки, только не с автоматами, а с винтовками, не бегали по России?

— Не смеши меня, — Янис обнял Виктора за плечо. — Латвия оккупировала Россию, белочка взяла в плен медведя. Не анекдот?

— Нет, — отодвигая рюмку, вспылил Виктор. — Не анекдот. Старую армию разогнали, офицеров расстреляли или утопили в море, разместили в губернском городе полк в девятьсот штыков и арестовали всю губернию. Иди, протестуй, лезь с вилами и топорами против винтовок и пулеметов.

— Я же предупреждал, что мы поругаемся, — Янис пальцем по сантиметру подталкивал рюмку по столу к Виктору. — Знаю я, с чьей это мельницы мука, что мы оккупировали Россию. Сражались мы с ним в командах КВН, когда он еще не был отцом Валерием, а учился на факультете истории. Прошу тебя, оставим это. Честно. Каждый из нас по-своему прав и не прав. — Янис широко улыбнулся, высоко поднял рюмку перед картиной Фридриха. — А! Хоть ты и против, выпьем за любовь!

— Я не против, — сломив в душе желание продолжить спор, сказал Виктор, хотя еще и не мог ответить Янису той же улыбкой. — За любовь, так за любовь.

Он повторил жест Яниса у картины и сказал:

— Тогда один вопрос. Я хочу увезти Лайму домой к себе. Что скажешь?

Янис сел на кушетку под картиной, зажав рюмку в ладонях.

— Виктор Сергеевич. — Он поставил рюмку на кушетку, расплескав коньяк. — За день до твоего приезда

она фактически умирала. Сердце остановилось, наблюдалось явление клинической смерти, сердце запускали дефибриллятором, прибор такой...

— Слышал я.

— ...Пять часов мы над ней бились. Каким-то чудом она выкарабкалась. Потом приехал ты, потом случилось то событие, после которого все показатели у нее кардинально улучшились: произошла эмоциональная встряска всего организма. Однако долго длиться это не могло. У нее с утра падает давление. Едва ли она переживет эту ночь. Поверь моему опыту. Она и сама это чувствует, она же сейчас прощалась со мной. Собственно, я для этого тебя и позвал, чтобы предупредить, а у нас видишь какие дебаты развернулись.

## 15

Вечер этого дня прошел обычно. После работы наведался Вилис, они снова вспоминали его детство, смеясь над его мальчишескими проказами.

Ночью Лайма бредила, металась на постели, звала его, просила прийти Вилиса. Виктор говорил ей, что уже поздно, Вилиса не позвать. Лайма плакала, мешая русские слова с латышскими, ругала его негодяев, соблазнителем, гнала от себя. В краткие минуты просветления она улыбалась ему, что-то слабо шептала. Потом все начиналось съзнова.

Когда забрезжил рассвет и за окном простирали силуэты елок на больничном дворе, Лайма заснула. Слыша ее глубокое ровное дыхание, Виктор, ожидавший чуда, подумал, что оно произошло, она начнет поправляться.

Он раскрыл Псалтирь, губы зашевелились, произнося слова, а взгляд начал вязнуть в цепочках строк...

После отбоя Виктор убежал из казармы: они договорились с Лаймой пойти ночью купаться. Полная луна озаряла своим таинственным светом землю. Этой чудной сизовато-молочной белизной был высвечен каждый камешек на тропинке, каждая травинка на земле и иголки на соснах. Они бежали по сосновому бору, обвеваемые этим светом, как невидимым ветром. Открывшееся с крутого берега текучее зеркало реки отражало этот свет. Вдалеке на быстрине сверкала рябь, а внизу под ними на гребешках волн играли лунные блики.

Теплая вода приняла их в свои объятия, и они, счастливо улыбаясь друг другу, поплыли. Лунные капли мерцали темным жемчугом на лбу и щеках Лаймы, могучая коса, уложенная на голову высокой башней, придавала ей вид древнеегипетской царевны.

И вся эта красота — и лунный свет, и коса, смеющиеся губы — принадлежала ему.

На середине реки длинной грядой выступал остров, поросший ивняком. Лайма вышла из воды первой, протянула ему руку и — они слились в поцелуе. Взяв любимую на руки, он понес ее на остров.

Лайма повернула к нему перекошенное мукой лицо и сказала с укором:

— Не спи!

Виктор проснулся, как от удара. Лайма широко раскрытыми, горящими глазами смотрела на него, но взгляд простирался дальше, словно она что-то видела за ним.

— Лайма, — осторожно позвал он.

Она перевела на него укоротившийся взгляд.

— Витюша! — послышался свистящий шепот. — Умираю.

Виктор давнул кнопку на стене.

— Не нужно никого, — сказала Лайма. — Письмо... под подушкой... там. Виленька, сынок. Виктор! — звучно вскрикнула она. — Что перед смертью говорить нужно?

— Господи Иисусе Христе, — ломающимся голосом начал Виктор.

— Господи Иисусе Христе, — тускло повторила Лайма, пальцы заскребли по одеялу, натягивая его на себя.

— Помилуй мя, грешную...

— Помилу... — по лицу Лаймы скользнула тень, она потянулась, и улыбка застыла на ее губах.

В палату вбежали Янис, дежурная сестра.

Сдерживая слезы, Виктор поцеловал Лайму в лоб, в закрытые глаза, прикоснулся к бескровной полоске губ, приник головой к груди. Там, в загадочной глубине, затухающим шорохом прошелестело: тук... тук... и настала вечная тишина.

Янис сочувственно положил ему руку на плечо, вполголоса отдал распоряжение сестре.

Виктор не сводил глаз с неподвижного лица покойной. Еще минуту назад оно было страдающим, но живым. Если наполнить взгляд всей силой души, всем желанием сердца, смотреть упорно, ни на что не отвлекаясь, тогда вдруг мертвые веки вздрогнут, она откроет глаза и скажет: «Ничего, Витенька, не случилось, я просто спала».

Санитарка втолкнула в палату высокие носилки на колесиках.

— Отмучилась, красавица наша, — сказала она, подгоняя каталку ближе к койке.

— Не трогайте, я сам. — Виктор отстранил санитарку, было взявшую Лайму за ноги. Он поднял легкое тело жены (спина была еще теплой), укрыл с ног до головы простыней и сам повез из палаты.

— Виктор Сергеевич, — догнала его в коридоре санитарка. — Письмо. Под подушкой лежало.

— Ах, да! — Виктор, поморщившись, сунул конверт во внутренний карман пиджака.

## 16

Облокотившись на перила моста, Виктор завороженно следил, как, пенясь и закручиваясь скорыми выюнками водоворотов, над песчаным, в солнечных разводах дном, над оглаженными камнями, пошевеливая на них бархатистую каемку зеленого

подводного мха, мчала прозрачно-стремительная лава воды. Морозное дыхание зимы отвердит ее верхний слой ледяной коркой, но подо льдом все равно будет скрытно струиться неудержимый поток, чтобы по весне, взломав временные оковы, вновь объявиться торжествующим и вечно живым. А сердце, охладевшее сегодня, уже никогда не забыться вновь.

В больнице, у кабинки лифта, куда он уже направил каталку с телом Лаймы, к нему подбежал запыхавшийся Вилис. Они отвезли тело в морг, с полученным в зале свидетельством о смерти он отправился в похоронную мастерскую, потом в церковь.

Виктор поднял голову. От соснового бора на реку ложилась тень. Где-то там вьется тропинка, по которой они спускались с Лаймой. А вот и островок — зеленый кораблик в речном потоке.

Он вспомнил, как принесли телеграмму, как он читал ее, откладывал и вновь читал, думая: ехать — не ехать? И решился!

О, как он любил себя сейчас за тот стихийный сердечный порыв. Состарившись душой, привыкнув все обдумывать и расчетливо взвешивать, как рад он был узнать, что сохранилось в нем живое, горячее чувство, что он способен не только исполнять свои обязанности, быть руководителем, авторитетным человеком в городе, но быть любящим человеком, жить жизнью души.

Однако при чем здесь ты? К чему пыжиться и гордиться, превозноситься перед самим собой? Если быть

честным до конца, это любовь Лаймы, жертвенная, предвечно святая сила ее любви привела тебя сюда. Как магнит притягивает косное, мертвое железо, так эта сила потянула, выдернула тебя из привычного круга бытия. Сила ее любви хранила тебя в дороге от аварии, от сна за рулем, от бандитского налета, от придиорок гаишников. С тобой ничего не могло случиться, потому что она, борясь со смертью, ждала тебя. Эта сила укротила твою гордыню, научила тебя, как должно вести себя с Янисом, она погасила тот ужасный запах, прояление раковых больных, от которого тебя чуть не вырвало в первый раз.

Виктор смахнул с ресниц навернувшуюся слезу. Дождевой каплей она полетела вниз, соединившись с потоком.

Вечерело. Куда-то нужно идти. Но куда? Вилис звал его к себе, сказал адрес, а он тут же забыл его. Тогда один путь — через весь город в Муйжу.

На мост зашла компания подгулявших парней. Виктор прижался к перилам, пропуская их. Ему что-то сказали. Должно быть, попросили закурить.

— Простите, не понимаю, — сказал он.

— Ха, рус-Иван! — завопил один из парней. Радостно-злобный восторг пробежал по их лицам.

Переживания дня поселили в душе какую-то притупленность, отстраненность от происходящего, и, сознавая опасность, Виктор не хотел противостоять им. Да и что он мог сделать? Драться — безнадежно, убегать — не привык он. Будь на нем солдатский ремень с

бляхой да верни ему те годы, он показал бы им рус-Ивана. Но не хотелось ему сегодня ни с кем драться, ни от кого убегать, а только быть одному. Господи, помилуй.

Парни обступили его. Матерятся-то они, действительно, по-русски.

— Попался, оккупант!

— Чего молчишь? Язык отнялся?

— Он в штаны от страха наложил. — Парни заготовали.

— Сейчас ты у нас запоешь! — Один из парней протянул руку, чтобы схватить его за галстук.

Виктор закрыл галстук ладонью, зная, что если он попробует отвести руку парня, все сразу набросятся на него.

На мосту взвизгнули тормоза машины, и спасительно знакомый голос что-то повелительно крикнул. Парни отпрянули и расступились. Из окошка машины выглядел Янис. Еще оклик, и парни, трусливо хихикая, припустили прочь.

— Гляжу, соколы мои кого-то клевать собирались, — шутил Янис. — Русского орла. Садись, подкину.

— Нет, я лучше пешком. Прости.

Виктор пошел в Муйжу не обычным путем возле школы, а свернул в переулок. За домами вскоре открылось широкое поле с прудом. Слева стеной темнел лес, справа, вдали за деревьями, — Муйжа.

В лавчонке возле универмага он купил бутылку сухого вина. Запекшаяся, горчившая преграда стала

поперек груди, невыплаканные слезы теснили душу. Сев в поле под березкой, он сорвал пробку, сделал несколько глотков и отшвырнул бутылку.

Она любила тебя так, как не любят все вместе взятые твои друзья и подружки. Любовь ее можно было сравнить лишь с любовью матери. Но эти любви различны, мать любит ребенка природной любовью, задолго до его появления на свет, а она полюбила тебя взрослого, испорченного всеобщим восхищением баловня судьбы, полюбила со всеми твоими прихотями, хорошими и дурными привычками. Она воспитала своего сына в любви к тебе, бросившему ее мужчине, которому она, гордая девушка, подарила в ту волшебную ночь свою невинность и чистоту. Она осталась верна тебе одному, не терзаясь сомнениями, верен ли ей ты.

И ни слова упрека, осуждения. Лишь неизбывная предсмертная тоска исторгла из души ее умоляющий вопль о последнем свидании перед вечной разлукой.

Виктор упал на землю, по которой ходили ее ноги, целовал ее и плакал.

Солнце село. В небе искоркой зажглась первая звездочка. Ночным полем он подошел к дому Лаймы, посидел на скамье. За сарайками в траве белел жернов, и в прохладе ночи хранивший тепло отошедшего дня. Что-то зацепило Виктора за ногу. Он пошарил в траве — нижний обруч на жернове лопнул.

В проходе меж сараек выросла чья-то фигура.

— Кто здесь? — спросила она голосом Вилиса.

Виктор встал с жернова.

— Сынок, это я.

— Отец!

Они обнялись, каждый по-своему переживал эти долгожданные, высказанные наконец-то вслух слова.

## 17

Рано утром он выкроил время, чтобы навестить казарму, где некогда размещалась их лихая вторая рота. Это было рядом с домом Лаймы, за поворотом дороги.

На месте деревянного, оштукатуренного двухэтажного дома, где они жили, возведена кирпичная казарма. Только что сыграли подъем. На дворе, обнесенном невысоким штакетным забором, строились голые по пояс солдаты, командовали сержанты. Перекладина и брусья, на которых он любил заниматься, перенесены на другую сторону двора. Несмотря на новизну, все было близким, родным и вместе с тем далеким и чужим. Смерть Лаймы ослабила армейские воспоминания, и все же было жаль, что никто не крикнет ему: «Эй, Витек!», и лишь один он знает, какая неповторимая жизнь бурлила здесь четверть века назад. Караульная, строевая, с ожиданием писем из дома, с песнями. Да, сколько раз они шли по этой дороге в клуб и пели:

*Эх, Россия, любимая земля, земля.*

*Родные березки да поля, поля.*

*Как дорога ты для солдата,  
Родная русская земля.*

И никому эти слова не казались странными, все чувствовали себя дома, и в самом деле все было вокруг своим: и край, и люди.

Что же изменилось с той поры? Латыши остались латышами, а русские русскими. Зачем же, кем сеются семена зла, которые прорастают ненавистью и враждой? Зачем, кому нужно, чтобы мы жили не в любви?

Встретив на вокзале приехавшую из Даугавпилса старшую сестру Лаймы, Виктор с сыном поехали на хутор под Смилтене за престарелой тетей Лаймы, у которой она в детстве проводила каждое лето.

В пути Виктор рассказывал о своей солдатской службе, о разных комических приключениях, о командире роты капитане Некрасове, шутнике и выдумщике, которого любили солдаты. Много говорили о Лайме, о Янисе. Безнадежных раковых больных выписывают умирать домой, а Янис держал Лайму в больнице до последнего дня, здесь и уход, и обезболивающие уколы. Он помогал им, когда Вилис был маленьким, давал денег на одежду, устраивал Вилиса в санаторий.

Не доезжая до Смилтене, они свернули в сторону проселка.

— Отец, — попросил Вилис смущенно: это слово было еще непривычно ему, — разреши повести машину.

Они поменялись местами. Пыльная дорога сбегала под горку, взбиралась на холм, петляла по лесу.

— Хороша штучка, — с удовольствием крутя баранку, говорил Вилис. — Идет легко.

— Заведи такую, — улыбнулся Виктор.

— Заведешь с моей зарплатой. Концы еле-еле сводим.

— А куда б ты на ней ездить стал? — любуясь сыном, спрашивал Виктор.

— Нашлось бы куда! — мечтательно воскликнул Вилис. — За грибами, за ягодами. Мать чернику любила, я каждую осень на болото ходил, это километров десять от нас. А рыбалка! Я такие места вверх по течению Гауи знаю, закачаешься!

— Детишек на природу вывезти, когда подрастут, — подсказал Виктор.

Сттей Лаймы они вернулись в В. и заехали — время еще было — в нотариальную контору, где Виктор оформил на Вилиса дарственную на машину. Вилис огорошенно молчал, пока нотариус заполняла документы, и потом, уже на крыльце конторы, долго не мог поверить, что это не шутка, это взаправду.

— Может, ты думаешь, — тормошил сына Виктор, — я тебе дарю ржавую консервную банку? Машина — новые, сорок тысяч пробега.

Вилис растерянно улыбался.

— Все же я надеюсь услышать от тебя хотя бы спасибо, — посмеивался Виктор.

- Спасибо, отец, спасибо.
- Paldies<sup>1</sup>, не так ли?
- Paldies, ja, ja.

— Прости меня, дорогой мой, — обняв сына, говорил Виктор, — прости, что ты вырос без отца. Мне грустно говорить это, понимая, что исправить ничего нельзя. Книги, прочитанные с отцом в детстве, походы в лес, на рыбалку — этого не купить за деньги, а отцовская ласка дороже всякой «Нивы» и прочих безделушек. Поэтому прими от меня этот подарок, прости, если можешь.

— Я ни в чем не виню тебя, отец, — не поднимая глаз, отвечал Вилис. — Если бы ты скрывался от семьи, бросил меня, мать... Какая, в чем твоя вина? А если она и есть, кто дал мне право судить тебя? Мать всегда говорила мне о тебе только хорошее, и я любил тебя, не зная тебя. А теперь, после всего, я люблю тебя еще сильнее.

### 18

В день похорон гроб с телом Лаймы занесли в церковь. После литургии, на которой с благословения отца Валерия Виктор со старушками пел на клиросе, после молебна началось отпевание.

...На другой день Виктор уезжал. Раздав все деньги (в церковь, Вилису, Наде), оставил себе только на билет,

.....  
<sup>1</sup> Спасибо (латышск.).

он с Вилисом, сестрой Лаймы, Алидой и Надей съездили на кладбище.

Могила Лаймы утопала в цветах и венках, так что надгробный крест почти был не виден под ними. Цветы стояли в банках, торчали воткнутые в рыхлую могильную землю, лежали среди венков. Вот все и закончилось. Теперь он не увидит ее ни живой, ни мертвой. Если только она навестит его во сне.

На обратном пути Виктор вышел у больницы, попросив сына, когда тот развезет всех, подъехать сюда.

Яниса в кабинете не было. Виктор присел в коридоре на скамейку. Проходившие санитарки, сестры здоровались с ним. Привыкли, считают за своего.

— Уезжаешь, — как всегда, с места в карьер начал разговор появившийся Янис.

— Да, зашел проститься.

— Когда снова к нам? — Янис пропустил его вперед себя в кабинет. — Садись.

— Я на минутку, Вилис сейчас приедет.

— На минутку нечего и заходить. Это что, форма утонченного издевательства? — Янис раскрыл бар, разлил из недопитой тогда бутылки. — Помянем еще раз нашу подружку. Пусть ей земля будет пухом. Когда снова к нам, я спрашиваю?

Виктор принял рюмку.

— Постараюсь на сороковой день. Правда, ходят слухи, что границу закроют скоро. Может, я из последних, кому удалось нормально, по-старому проехать.

— Приедешь нормально по визе.

— Грустно в родимые места по визе приезжать.

Виктор подошел к окну. У больничных ворот остановилась его бывшая «Нива».

— Эту на дорожку, — снова наполнил рюмки Янис.

— Ты споишь меня. Я так часто не пью.

— Откуда такие трезвенники на русской земле объявились? Ты позоришь звание русского человека, — засмеялся Янис, выпил и сказал: — Виктор, я хочу у тебя спросить.

К Виктору в кабинет приходило столько просителей (тому на издание книги, тому на лечение и т. п.), что он безошибочно угадал, что последует дальше.

— Помнишь... тогда, — почти детская улыбка на лице Яниса говорила, что просить он не привык, — в общем, ты обещал помочь нам, больнице.

— Я и сейчас не отказываюсь. Что нужно?

— Понимаешь, больнице позарез нужен томограф. Штука в диагностике незаменимая. Деньги на него мне давно обещают...

— Сколько надо?

— Много, тысячу «зеленых».

— Не так уж много. Да наличных-то у меня кот наплакал, истратился я. — Виктор достал чековую книжку, задумался. — У тебя не будет неприятностей, что от «оккупанта» деньги берешь? Не обижайся. Я не шучу.

— Да плевать я хотел. Мне людей лечить надо.

— Нет, все-таки. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были какие-либо неурядицы. — Виктор убрал книжку в карман. — Сделаем так. В Вильнюсе у меня есть знакомый бизнесмен. Знакомы мы заочно, по делам. Я черкну ему записку, по которой он выдаст тебе деньги как благотворительную помощь, а мы ему потом их возместим кружным путем, через... ну не будем вникать в детали. Ты со всех сторон будешь чист.

Виктор глянул за окно. Стоявший у крыльца Вилис, увидав его, потюкал пальцем по часам: опоздаем.

— Ну, прощай! — сказал он, подавая руку Янису.

— До свидания. *Laimigu ceļu!* Счастливого пути! — ответил ему дружеским рукопожатием Янис.

Виктор обвел комнату взглядом. Ничего не изменилось в ней, те же шкафы и стулья, молодые влюбленные на картине так же наслаждаются своим вечным счастьем, но военный в строгой рамочке смотрел на него как будто теплее. Могли мечтать он об этом в первое посещение кабинета?..

## 19

Транзитные поезда не останавливались в В. Чтобы сесть на поезд, нужно ехать до пограничного с Латвией эстонского городка.

Вилис уверенно вел машину по автотрассе. «Нива» попала в заботливые, хозяйские руки. Вчера после поминок Вилис отвез тетю Лаймы обратно на хутор,

в лесу попал под дождь, застрял, вернулся за полночь на заляпанной грязью машине, а сегодня она блестит как стеклышико.

Они ходили по перрону, каждый думая о своем.

По радио объявили о приходе поезда.

— Ах, Господи, — Виктор хлопнул себя по лбу, — совсем забыл, — и побежал к машине.

— Что, отец? — спросил Вилис.

— Кассета магнитофонная. Я никогда не расстаюсь с ней. Привычка глупая, но что делать. Присмотри за сумкой.

Вспыхах Виктор нажал не на ту клавишу. Заиграл оркестр, и Личия Альбанези, несравненная Виолетта, пропела голосом молодой Лаймы:

— O gioia!<sup>1</sup>

Спазм сдавил горло, и рыдания, душившие его на кладбище и на поминках, которым он при всех не мог дать воли, хлынули на свободу. Еще пели Аннина, Альфред и Жермон, звучали заключительные аккорды, а он не мог удержать рвавшийся из груди поток горя. Как же, почему он забыл записать голос Лаймы? Пусть слабый, больной, но живой. Опять, опять он думал только о себе.

— Отец, — говорил подбежавший Вилис. — Поезд стоит пять минут. Опоздаешь.

---

<sup>1</sup> О радость! (итал.).

— Иду, родной мой, иду, — поднимаясь с сиденья и утирая слезы, говорил Виктор, вынул кассету и, крепко обняв сына, пошел к вагону.

### Письмо Лаймы

Дорогой Витенька! Я любила тебя всю жизнь и не ошиблась в своей любви. И с этой радостью я умираю. Ты приехал, ты бросил все. Ты принес мне величайшее счастье и покой. После венчания с тобой я первую ночь за эти мучительные месяцы спала спокойно, без уколов и таблеток. Я снова была молодой, юной, красивой и здоровой, как, помнишь, — в ту ночь, когда была яркая луна и мы плавали с тобою в реке. Ты помнишь, конечно, эту ночь. Многое забывается в жизни и многое помнится людьми порознь, но есть и общие воспоминания. Я крепко спала всю ночь, мне снился ты, мне снился свет и какая-то церковь, в которой мы стоим вдвоем, хотя я никогда не была в церкви и впервые разговаривала с попом, которого ты привел в больницу, какой ты умный и добрый! Ты веришь в Бога, и я за-видую тебе. Мне осталось жить так мало, чтоб успеть поверить в Него, как веришь ты. Ты и среди ребят в роте, и среди всех моих друзей был не таким, как все. Видимо, поэтому я и полюбила тебя. Проснувшись, я почувствовала в себе столько сил, что захотела написать тебе это письмо. Потому что силы эти ненадолго, и я боюсь, что когда ты придешь, я, может, и слова тебе не смогу сказать. Мне было страшно умирать еще три

дня назад. Как ни мучили боли, как ни болели пролежни, как ни гадок запах от моего тела, мне все равно хотелось жить. Я и сейчас хочу жить, но теперь я не боюсь умереть. Зачем бояться смерти, когда ты любишь и когда тебя любят? Думая о тебе, я хотела когда-нибудь рассказать тебе всю мою жизнь, но сейчас это не нужно. Я рада, что у Вилиса, моего золотого мальчугана, есть наконец-то отец. Прощай, мой милый муж. Хочу несколько дней я была твоей женой. Помни и молись обо мне.

Твоя L

# **Рассказы**

# Царицына внучка

## Святочный рассказ



Пятилетняя Катюша, говорливая не-поседа, залезла к дедушке на колени. Старец, поминутно задремывая, отдыхал в кресле после обеда.

— Дедушка, а, дедушка, — тормошила его внучка.

— Ну что, егоза?

— Дедушка, а почему тебя так смешно зовут?

— Как же смешно? Обыкновенно — Иваном.

— Да нет, а что зовут тебя пра-пра-дедушка. Ты, что ли, правильный, правильный дедушка, а чтоб не было длинно, и говорят: пра-пра?

Дед усмехнулся, поглаживая седую, с ветхой желтизной по краям бороду.

— На все-то, вострушка, у тебя вопросы есть.

— Дедушка, а почему у тебя борода такая длинная, потому что ты живешь долго? А когда ты, дедушка, умрешь?

В комнату на эти слова заглянула мама.

— Катя! Что ты глупости опять такие спрашиваешь! Пусть дедушка живет дольше. Перестань.

Дед Иван, которому эти вопросы были не в новинку, дотронулся ладонью до внучкиной головки — с зачесанными светлыми волосами и косичкой с голубым бантом.

— Пусть, пусть живет, — крикнула Катя, и когда мама опять ушла на кухню, встала на кресле, обняла деда за шею, скоро зашептала ему в ухо: — Деда, честно, ты же сам вчера говорил, что пора тебе умереть, да Бог смерти не дает. А кому ты крестики, что в сундучке твоем лежат, оставишь, мне или Пете?

— Зачем же девочкам Георгиевские кресты? Конечно, Пете.

Катя, нахмурившись, быстро слезла с кресла, подошла к куклам.

— Все только вашему Петечке, — дрожащими губками, с обидой говорила она. — А я так плохая? Он все время с ребятами гуляет, а я с тобой разговариваю. Сам недавно говорил, что со мной тебе весело.

— Конечно, весело, — отозвался дедушка. — Пропал бы я без тебя. Ноги-то меня уж совсем не носят, ты моя первая помощница.

— А если первая, так и дай мне один крестик. В телевизоре показывали, как Кутузов Шурочке Азаровой крестик прицепил. Ей так можно?

— Не сердись, — вздохнул Иван Алексеевич. — Все вам и оставлю, ничего с собой на тот свет не унесу. Только помните обо мне.

— Будем, будем помнить, — повеселевшая Катюша снова вскарабкалась деду на колени, который морщился от боли, когда бойкие ножонки внучки переступали по его старым, костлявым, немощным ногам, но терпел.

— Деда, — попросила Катя, — расскажи, как ты царицу видел.

— Я ж рассказывал тебе не раз.

— Еще расскажи. Жалко тебе, что ли?

Дед рассмеялся.

— Чего не выдумаешь — жалко. Да сколько же можно?

— Ну, дедушка Ванечка. Я тебя всегда, всегда буду слушаться.

— Как же, будешь слушаться, коли молитвы не учишь.

— А вот и учу.

— Правда?

— Правда!

Внучка сделала важное лицо.

— Нет, нет, ты под иконы иди. Не стишок, чай, молитва.

Катя встала перед иконами в красном углу, одернула плащанице, тщательно сложила пальчик для крестного знамения, посмотрела на них, оглянулась на дедушку. Тот кивнул ей.

— «Богородице Дево, радуйся, — звонким, счастливым голоском завела Катя, — Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах и благословен

плод чрева Твоего душ наших». Ой, нет, — поправилась она, — «...и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Видишь!

— Что с тобой делать, — подчинился дедушка, — придется рассказывать.

— Это было накануне Рождества Христова тысяча девятьсот шестнадцатого года, — старательно выговаривая числа, пытаясь подражать говору деда, вступила Катя. — Я тогда находился на излечении в госпитале...

— Да, милая внученька, был я в госпитале и, скажу тебе, не чаял выйти из него живым. Цельный месяц лежал пластом, рана моя не заживала, болела, нарывала, гноилась сильно...

— Гноя, случалось, набиралась не одна кружка, — серьезно сказала Катя, знаявшая наизусть рассказ деда и дополнявшая его, если дед что-либо пропускал.

— Да, верно. Спать я от боли не мог. Горит рана, словно кто углей мне каленых за пазуху насовал. Со мной в палате еще девять человек таких же бедолаг, тяжелораненых. И сказали нам, что придет проводить нас государыня императрица Александра Федоровна. Научили, как ей отвечать должно, переодели нас в новые рубахи, простыни свежие постелили, хотя белье второго дня как сменили. После завтрака и утреннего обхода в палату отворилась дверь. Ожидали мы царицу увидеть в царском убore, с короной, как изображена она с царем на портрете, что возле образов в палате висел, а вошла сестра милосердия в простом, длинном

до пят белом платье, в косынке с красным крестиком на челе. Высокая, красавица писаная, сразу видно, что царица. Взгляд добрый, светлый, но печальный.

— Деда, — перебила Катюша, — правда, у меня взгляд тоже печальный? Посмотри.

Дед поцеловал внучку в ясный лобик.

— С чего же ему у тебя печальным быть? Ты же дитя — ангелочку подобна, какие у тебя заботы да печали? А ее доля, матушки нашей, за всю Россию перед Творцом печаловаться. Доктор с нею наш, начальник госпиталя, другие люди. И направилась она сразу ко мне, не то сказали ей, не то почуяла она, что я самый тяжелый. Подошла, присела на койку.

Доктор ей что-то бормочет сзади, она повела своей царской ручкой: не мешай, дескать. Доктор и отдалился.

— Как тебя, солдатик, зовут?

— Рядовой первого батальона, первой роты, первого взвода Вологодского Александра Невского полка Иван Молодцов, — рапортую я, а у самого круги в глазах. Тошно мне, болит рана, мочи нет.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать один год, Ваше Императорское Величество, с ноября девяносто пятого года рождения.

— А число?

— Третье ноября, Ваше Императорское Величество.

— Надо же, — улыбнулась она, — какое совпадение. День в день ты родился, как моя Оля. Называй меня просто — сестра. Куда ты ранен?

— В грудь, Ваше Импе...

— Сестра, сестра. Как это случилось?

Иван Алексеевич задумался на мгновение, вновь вспоминая ту чудесную встречу, озарившую благодатным светом всю его жизнь.

Катя терпеливо ждала. Бросив кухонные хлопоты, за шкафом, отделявшим большую комнату от кухни, стояла и слушала мама. Ей тоже было не впервые слушать эту быль, но каждый раз она трогала и наполняла душу какой-то грустной радостью. Она не могла надоесть, как не могли надоесть и прискучить жития святых, и, слушая неторопливое повествование старца, удостоенного Господом поистине библейской долготы дней, было грустно и радостно думать о тех временах, когда у нас была совсем иная жизнь, совсем иные люди, был у нас царь и была царица — не злая, рыжая немка, как поганили и чернили ее писаки, а возвышенная женщина, умевшая поговорить с простым солдатом, как с родным сыном.

— А случилось это так. Пошла наша рота в атаку. Спереди и сзади пушки грохочут, пулеметы бьют, крик по всему полю. Прорвались мы через проволочные рогатки, вышибли немцев из траншеи, гоним их. Взводный наш, молоденький поручик, худенький, росточка невеликого, а храбрый, как орел. «Вперед, ребята!» — кричит. А из-за бугорка на него немец со штыком, заколет сейчас. «Ваше благородие, берегись!» — кричу я, и немцу на перехват. Да малость не успел, немец взводного прикладом в голову оглушил, и на меня. Ражий де-

тина, косая сажень в плечах, усищи, как у тигра. Только и я малый не промах, грузчиком до службы в артели в Архангельске работал, пианину, бывало, по трапу несу, ни одна жилка не дрогнет. Бьемся мы штыками, хруст да звон идет. Я, Ваше Импера... сестра, матушка государыня, в полку по штыковому бою завсегда призы брал, а вот не могу его одолеть, нашла, видать, коса на камень. Сплоховал я, тут он и дал мне в грудь штыком. Опрокинул меня наземь, замахнулся, чтоб на разу порешить, да взводный на мое счастье очухался, из револьвера германца и уложил. Доставили меня в лазарет полевой, сюда в госпиталь, да рана-то заживать никак не хочет, не жилец я, наверно, на белом свете.

— Поправишись, Ванюша, не тужи, — говорит она мне. — Бог милостив. Так страшно на войне?

— Страшно, матушка, как не страшно.

— За грехи Господь нам испытание это послал. Как осилим его, добром или грехом, так и после жить будем. За Государя молишись?

— А то как же. Как положено: утром и на сон грядущий.

— Ты не как положено, ты сердцем молись.

— А я иначе не умею.

— Вот и молись, Ванюша. Трудно сейчас государю. Со всех сторон враги его обошли, и чужие, и свои. Своисто страшнее. Говорят о России, мыслят о себе. Молись, и Господь тебя исцелит. — Возложила она свою левую ручку мне на голову, правой рану мою перекрестила,

наклонилась, облобызала меня в щеку и перешла к Степану, соседу моему.

Так-то у каждого она и посидела, каждого пригрела ласковым своим словом.

Наступил вечер. Свет в палате потушили, одна лампадка у образа великомученика Пантелейиона теплится, мерцает, ровно звездочка. Твержу я молитовки вечерние, одну за другой, боль моя куда-то ушла, и чудно мне стало, понять не могу — что со мной. Телом я как будто в палате обретаюсь, друзья рядом спят, а душой в саду дивном хожу. Что за сад такой, ведь зима за окном, а здесь деревья зелены, цветы, трава-мурава кудрявая, птицы поют и таким духом сладостным, ладанным веет, что дышишь не надышишься.

Спал я или не спал, только на дворе уж светает, а я словно заново родился. Ничего не болит у меня, душа открылся простор небывалый, в голове думы вольные, бодрые. Встал я да соколом по палате хожу. Доктор в палату зашел и ко мне, растопырив руки, бежит.

— Ложись сию секунду, кто вставать позволил?

— Да на что мне лежать, коли я здоров совсем, — говорю я ему, да рукой-то, которой вчера шевельнуть не мог, как прижамкну его к себе, он аж ойкнул.

Бинты с меня сняли, доктор и руками всплеснул.

— Господи, Пресвятая Владычица, — говорит да не переставая крестится. — Чудо, чудо подлинное! За одну только ночь такая рана зарубцевалась. Такая рана! Глядите, и кожа новая наросла.

Из других палат доктора набежали, крутят меня, рассматривают со всех сторон, поверить не могут.

— Так вот, внученька, и повидал я ее, матушку-государыню.

Катя обычно по окончании рассказа дедушки принималась усердно лечить кукол: делала им перевязки, ставила градусники, компрессы, уговаривала их потерпеть, крепиться, брать пример с солдата Ивана Молодцова. Сегодня она задумчиво отошла в уголок под иконы и, взявшись ручками за нижний край покатого аналоя, смотрела на них. Какая-то внезапная мысль пришла ей. Такое бывает с малыми детьми. Их беда, что они подчас не могут выразить посетившее их откровение словами.

— Деда, — спросила она наконец, — а если б царица не пришла, ты бы умер?

— Катя, — сказала мама, — оставь дедушку в покое, он устал. Ступай, займись каким-нибудь делом.

— Деда, скажи.

— Как знать. Дела-то мои были плохи.

— А если б ты умер, и мамы нашей не было бы?

Дедушка развел руками.

— А без мамы и меня бы тоже?

Мама, угадавшая ход мыслей дочки, присела к ней, обняла за плечики.

— Все правильно, Василиса Премудрая. Если бы не Александра Федоровна, тебя бы не было. Уж не хочешь ли ты сказать, что ты ее внучка?

— Деда, — что-то еще хотела спросить Катюша, но мама на цыпочках повела ее из комнаты.

— Тсс, дедушка спит.

Иван Алексеевич Молодцов, отметивший неделю назад свой сто первый день рождения, рядовой Российской Императорской армии, Георгиевский кавалер, воин Белой армии, тридцать лет мыкавший свое русское горе на чужбине и полвека назад возвратившийся на Родину, спал. Кто ведает, что снилось ему сейчас, на кануне наступившей Рождественской ночи.

# Иван Иванович — мыслитель на пенсии

## 1

С Иваном Ивановичем, героем этой, возможно, несколько странной бытовой новеллы, однажды случилась большая неприятность — он умер. Хотя в однообразном течении его дней внешне ничего не изменилось. В той жизни он так же проснулся утром, сделал в одних трусах зарядку у открытой форточки, энергично протер свои крепкие бока и грудь смоченной в ледяной воде губкой, сытно позавтракал и бодрой рывкой заспешил на работу, где до обеда сноровисто гонял по металлическим пруткам костяные диски счет, занимаясь квартальным отчетом.

В обед он подкрепился в столовке тарелкой куриного супа и аппетитным бифштексом, а вечером знакомой дорогой побрел домой к сварливой, уже два года как на пенсии жене.

В новой жизни Иван Иванович по-прежнему с азартом посещал футбольные матчи, как мальчишка,

приветствуя истошным воплем каждый забитый мяч и лихо, в два пальца, освистывая не угодившего ему судью. В футбольные дни жена, еще не утратившая всех добрых чувств к нему, выдавала Иван Ивановичу денег на две бутылки пива сверх нормы.

Не за горами была пенсия, впереди маячила спокойная, бесхлопотная старость. Но за два дня до прощального собрания, на котором сослуживцы должны были произносить прочувствованные речи, затем вручить ему почетную грамоту и расписной электрический самовар, Иван Иванович умер опять.

В старой жизни никто не заметил его долгого отсутствия, не удивился и не обрадовался, что он вернулся к ним. Жена привычно пилила его за любую оплошность, бранила простофилей, пустым барабаном (хотя, в сущности, это была похвала) и, пользуясь его нынешним положением, свалила на его плечи всю домашнюю работу: заставляла мыть полы, посуду, чистить унитаз, ванну, посыпала в магазин, прачечную, конфискуя потом до копейки всю сдачу.

На пенсии Иван Иванович еще теплее полюбил стадион, где собратья-болельщики почтительно величали его «дедом», с уважением выслушивая его глубоко продуманные (впрочем, никогда не сбывавшиеся) прогнозы.

Три года пенсионной жизни промелькнули незаметно, когда Иван Иванович снова скончался.

Это страшно протрясло его. Он уже давно тревожно подозревал, что жизнь заключает в себе какую-то тай-

ну, но нащупать пути к ней не мог. Как вдруг жизненный туман поредел и что-то как бы блеснуло в нем.

Легко возбудимый, впечатлительный человек отозвался бы на этот еще весьма смутный проблеск стихотворением, подвигся бы на какой-нибудь необыкновенный поступок или, в крайнем случае, запил бы на неделю. Ивану Ивановичу этого было не дано. Воспитанный бухгалтерской службой в сдержанности, он не стал метаться из стороны в сторону, совершая необдуманные поступки и набивая абсолютно ему не нужные синяки и шишки. Подобно энтомологу, изучающему поведение редкой букашки, скрупулезно фиксирующему каждый ее шаг, ее повседневные крошечные привычки и прилежно заносящему свои наблюдения в полевой журнал, так и Иван Иванович с не меньшей пристальной вдумчивостью стал наблюдать за людьми: вслушиваться в их разговоры, сопоставляя слова с делами, следить за их мимикой, примечать, как ведут они себя друг с другом, с детьми, животными, растениями.

В качестве объекта изучения люди оказались удивительными созданиями: суетливыми, падкими на обман и лесть, верящими самым нелепым слухам и обещаниям и ни в грош не ставящими слово правды, жадными и щедрыми, хитрыми и простодушными, орущими на родную мать и умильно лепечущими над блохастым бродячим щенком, заботливо лелеющими хилый уродливый саженец и походя срубающими топором юную гибкую березку. Необъяснимая на первый взгляд двойственность была

главной людской особенностью. Человек обещал прийти на встречу и не приходил, уверял тебя в своей искренности, а вскоре случайно узнавалось, что он бессовестно лицемерил. Люди изменялись, как плывущее по небу облако. Перемены бывали столь разительны, что человека, встреченного утром, нельзя было узнать днем.

Это двоедущие люди не было, разумеется, новостью для повидавшего кое-что на своем веку Ивана Ивановича. Однако лишь теперь, систематизируя свои наблюдения, умно обобщая их, сближая вроде бы далеко отстоящие, а на деле родственные поступки, он начал проникать в суть явления.

Оказывалось, что человек в продолжение жизни неоднократно умирал, но обе жизни (подлинная и мнимая) были настолько схожи, что люди не замечали случившегося. Живые люди жили, а мертвцы перемещались среди них, как заведенные куклы. Лишь посвященный в тайну мог отличить действительного человека от ходящего и говорящего трупа. Если мертвец не успевал отвести взгляд, замаскировать его притворной улыбкой или укрыть за гримасой пошлого смеха, мерцающая тусклость холодного взора выдавала его.

Содрогнувшись от своего открытия, Иван Иванович потерянно ходил по улицам родного города; нахолившись, уединенно сидел на трибуне стадиона.

Он страстно желал убедить себя, что заблуждается, сочиняет что-то уж очень несусветное, но скоро получил ошеломляющие доказательства своей правоты.

Любя пиво, Иван Иванович покупал его только в магазине, презирая пивные за их грязь, сутолоку и хамство.

И надо же было тому случиться, что в окрестные магазины четвертый день кряду не завезли пиво. Что стряслось на пивзаводе с линией разлива, никто не знал. Не прояснили ситуацию и настойчивые звонки Ивана Ивановича на завод.

Делать было нечего — охота пуще неволи. Покряхтев, почесав в затылке, Иван Иванович стал снаряжаться в вынужденный поход. Долго охорашивался перед зеркалом, переодевал одну рубаху за другой, подбирая к ним галстуки, начальственно хмурил брови, напуская на себя неприступно-строгий вид.

— Часом, не к зазнобушке собираешься? — уколола жена.

Иван Иванович не удостоил ее ответом.

В сколоченной на скорую руку из фанерных щитов прокуренной пивной лениво колыхалась, перетекая от разливочного окошка к высоким железно-трубчатым столикам, тусклоликая в сизом табачном дыму человеческая масса. Тяжело пахло сыростью, потом, подгорелой рыбой и чем-то таким гадким, что противно было думать о нем. Затиснутый в середку очереди, Иван Иванович смирно ждал, пока поток потных тел пододвинет его к окошку, за которым в четыре руки расторопно орудовали две буфетчицы. Пьяные, мордатые мужики с наколками на руках нагло совали мимо него в окошко кружки, литровые банки. Кипя негодованием, Иван

Иванович благоразумно помалкивал. Кем был он тут, в этом волнуемом пивными страстями людском море? Утлой щепкой, которую оно закрутит и вышвырнет вон.

Оконце уже рядом, еще каких-нибудь четверть часа, и — конец мучениям. А за ближним столиком вспыхнула драка. Дрались, как непроизвольно, но безошибочно определил Иван Иванович, живой и мертвяк. Живой был и выше и сильней, да ведь мертвого бить, что деревяшку, он только крякал от ударов. Ноги Ивана Ивановича, не выносившего таких зрелиц, затряслись, он зажмурился. А пивная внезапно ахнула единственным вздохом, словно порыв ветра промчался по ней. Иван Иванович разлепил веки, в глазах у него потемнело: из шеи живого человека била, брызжа на людей, струя крови.

Загремели опрокинутые столики, взвились рваные крики:

- «Скорую», «скорую» вызывайте.
- Остановите же кровь!
- Жилу ему пережмите!
- Эк хлещет. Пазгает, как из крана.
- Поможет ему «скорая», тут моргом пахнет!

Обморочно натыкаясь на столики и людей, потеряв приготовленные в руке деньги и двухлитровый голубенький бидончик с уже снятой крышкой, Иван Иванович выдрался из жуткой пивнухи на волю. Рванув наобум через дорогу, он едва не залез под колеса громоздкого, рычащего как зверь КрАЗа, чудом увернулся от «Волги».

С выпученными остекленевшими глазами Иван Иванович мчался, не разбирая пути.

Этот безрассудный бег в никуда закончился быстро. Проезжавшие по улице в специальной машине охотники за людьми уже заприметили свою жертву.

Иван Иванович едва не влетел на перекресток, чтобы там под надсадно-яростные скрежеты тормозов и остервенелую шоферскую ругань вторично за малый отрезок времени испытать свою судьбу, когда его схватили цепкие руки. Он растерянно закрутил головой и помертвел: две пары нацеленных на него милицейских глаз лучились нелюдимым тусклым мерцанием.

— Я не пьян, — по-заячыи взвизгнул Иван Иванович.

Безмолвно, как в дурном сне, его повели к машине. На попытку что-то объяснить ему заломили руки. Заныв от пронзительной боли, Иван Иванович на цыпочках засеменил к железному фургону с мутными стеклами, бока которого будто в насмешку украшали милосердные красные кресты.

Здесь томились изловленные люди. Одни убито молчали, другие плакали или ругались. Какой-то пьячужка валялся на заплеванном полу, а у соседа Ивана Ивановича, то и дело прислонявшегося к нему, изо рта текла слюна.

Трясясь на узкой, липкой скамье, страдая от скверного запаха и бранных окриков сержанта с дубинкой, Иван Иванович тоскливо размышлял, что творится с ним сегодня: обстоятельства тому виной, что из них

вылепился такой отвратительный день, или это наказание за то, что жизнь приоткрыла ему сокровенную тайну, а он дерзнул усомниться в ней?

Во дворе здания милиции им приказали выходить. Спавшего выдернули за шиворот и поволокли в вытрезвитель, где толстая, с розовато-сытым румянцем во всю щеку женщина-врач сортировала доставленных.

— Этого-то на что привезли? — маленькими глазами колюче обшарив Ивана Ивановича, свирепо хрюкнула она. — Он же трезвый.

— И правда, — отозвался один милиционер, приглядевшись к нему.

— Ведь я говорил, — с надеждой, что сейчас справедливость восторжествует, воскликнул Иван Иванович. — А вы...

— Не выступать! — прервал его милиционер, больно ухватив за локоть, повернулся к выходу. — Видишь дверь? Закрой ее с той стороны.

В сумерках, когда из-за деревьев на небосвод выплыла желтая, теплая, словно масляная, луна, а в садике у больших прудов засвистал, задробил, рассыпаясь трелью, соловей и там послышался приглушенный молодой смех, когда природа этим вечером как бы хотела сказать, что она по-прежнему полна ласки и любви, измученный, опустошенный, с растоптанной, поруганной душой Иван Иванович отпер дверь своей квартиры.

— Иван, ты где болтаешься? Я места себе... — говорила, спеша из кухни в прихожую, жена, вошла и

всплеснула руками: — Ой-й-й-й! Ваня, это ты? Ты где был-то? На старости лет в загул ударился? Достойное занытице, нечего сказать, себе выбрал.

Иван Иванович в измятой, грязной, мерзко пахнущей одежде, с всклоченными волосами столбом стоял посреди прихожей, шумно сопя носом. Пересказать происходившее с ним сегодня, пережить все это заново было свыше его сил. Сейчас он жаждал одного — забвения и покоя.

— Так и будешь со мной в молчанку играть? — медленно обходя его, голосом тетки из вытрезвителя говорила жена. — Я кого спрашиваю? — голос ее зазвенел. — Новый пиджак, брюки — по каким свалкам тебя леший носил? Солидный мужчина, на пенсии, — она закричала, — до чего ты достукался! Шляпа! Шляпа-то где? Давно ли куплена, году не ношена, куда шляпу-то ты ухайдакал, пропойца несчастный...

— А-а-а! — бешено взревел Иван Иванович, подняв над головой кулаки, и трактором двинулся на струхнувшую жену.

Она, впервые увидевшая его таким, оцепенела от страха, попятилась, но некуда ей было деться в их низенькой однокомнатной хрущобке. А Иван Иванович, остановившись перед женой, опамятаился. Ударить жену? Чем же он тогда будет лучше тех, кто втолтал его в грязь сегодня?

Бессонная ночь ожидала Ивана Ивановича. Маски-лица милиционеров, повозка с крестами, жалкие люди в ней, гомон пивной, вид свистящей струи крови, врач со свиными глазками, волящая на него седая, сморщенная старуха вертелись в мозгу нескончаемо-бредовым колесом. Значит, любого человека можно вот так запросто цапнуть с улицы, мытарить в душной, вонючей машине, затем вытолкать в шею, даже не извинившись. И это — права человека, свобода слова? А люди в пивной! Ну как можно бить человека, которому больно, кулаком по лицу, по губам, по глазам, да еще и ножом. А жена! Не разобравшись, не вникнув, не посочувствовав — сразу орать! Как, зачем жить в этом ненормальном, исковерканном мире? Неужели и завтра опять видеть фальшивые улыбки мертвецов, натыкаться, как на иглы-сосульки, на их остывшие взоры, слушать лживые речи, терпеть грубость, бессердечие, жестокость?

Нет! Нет, нет! Уж лучше покончить с собой. Ничего больше не видеть, не слышать, не знать!

Осерчавшая на него из-за вечерней стычки жена рано утром ушла из дома. Треснула дверью, не промолвив слова.

Иван Иванович, вскочив с постели, стал скорее искать веревку. Перерыл всю квартиру и ничего не нашел. Пододеяльники, простыни, рубахи, полотенца сдавались в прачечную, а для носовых платков, носков, салфеток под цветочные горшки и прочей постирушеч-

ной мелочи была натянута вдоль балкона бечевка, которую Иван Иванович без труда порвал руками.

Неужто придется бежать в магазин? Но не вешаться же, в конце концов, на шнурках от ботинок?

Глубоко в серванте, за стопой нижнего белья, Иван Иванович обнаружил неизвестно для каких целей припрятанный женой моток прочного бельевого шнура с капроновой нитью.

В смятении побродив с мотком по комнате, Иван Иванович вышел на балкон. По улице проезжали машины, шли люди, во дворе на качелях качались дети, резвились у песочницы, а за столиком под сенью лип знакомые старики предавались глупейшей игре в домино. Легкий ветерок шевелил ветви деревьев, по листьям скользили кружевным узором золотистые, солнечные пятна.

Нет, зачем обманывать себя этой видимостью жизни? Разумней оборвать все разом!

Отрезав часть шнура, Иван Иванович привязал один его конец к колену канализационного стояка, забрался на унитаз и, мысленно попросив прощения у жены, надел петлю на шею.

В последний раз озирая тот мир, который он покидал, Иван Иванович повел взглядом по стенам, изумившись, что левая стена, словно омытая влагой, блестит, отливает ртутно-водянистой гладью. Узкая клетушка уборной отразилась в этом чудном зеркале пространным залом из черных, холодно-матовых мраморных плит. Там он увидел и себя, босого, стоящего с веревкой на шее. Из

дымчатой отдаленности удивительного помещения к зеркальному Иван Ивановичу деловито, как рабочие на смену, шагали три загадочных веселых существа. Тоющие, с продолговатыми козыми рожицами, с острыми завитушками рожек над лбами, одетые плотно-курчавой коричневой, словно плюшевой, шерстью, они несли на плечах железные скребки и крючья, какими обычно бывают вооружены кочегары в котельных. Тотчас с поднизу приволокло горько-удушливого угарного запаха. Хлебнув глоток этого жаркого, шаркнувшего теркой в горле чада, Иван Иванович поперхнулся, надрывно закашлявшись. Одна нога его соскочила с покатого края унитаза.

Балансируя на одной ноге, как канатоходец над бездной, Иван Иванович отчаянно боролся за стремительно выскальзывавшую из-под ног жизнь. В этот шаткий миг страшная мысль всплеском молнии сверкнула в голове: что если в той жизни он будет вечно висеть в петле у унитаза, а эти смешливые чертеныта вечно будут дергать, рвать, кромсать его своими инструментами?

Дрыгнув ногой, Иван Иванович уцепился ею за край своего предсмертного постамента, как обезьяна за ветку. Обретя опору, он раздернул петлю, уж было намертво впившуюся в шею, кинул ее за голову и с размаху грянулся об пол.

Тут и нашла его жена.

— Ванечка! — увидев болтавшуюся веревку с петлей, упала она на него с криком. — Миленький мой, зачем ты хотел сделать это? Неужели тебе так плохо со

мной? Прости меня, что я постарела, у меня болит голова и я часто сержусь на тебя. Ванюша, Ванечка, как же я без тебя стану жить...

Услышь Иван Иванович эти причитания, он бы, наверное, заплакал. А он лишь мычал, как оглушенный на бойне бык, когда жена, капая слезами на его лицо, тащила грузное тело мужа в комнату, заворачивала там его на диван. Тяжесть была неимоверная. Елизавета Евгеньевна даже подумала: не позвать ли на помощь соседей? Но что она скажет им о багровом рубце, окольцевавшем шею мужа?

Целую неделю Елизавета Евгеньевна не разрешала Ивану Ивановичу вставать с кровати. Возилась с ним, как с ребенком, кормила с ложечки, поила чаем, покупала яблоки и виноград, шоколадные конфеты, лакомила его мороженым с вишневым ликером, до чего Иван Иванович был большущий любитель, но в былые дни по сквердности супруги не смел даже заикнуться об этом. Ночью она вставала к нему поправить сползшее на пол одеяло, целовала в лоб жалеющим материнским поцелуем, подолгу смотрела на него, ужасаясь в догадках и не отваживаясь спросить днем, что же толкнуло мужа на такой шаг?

Так Иван Иванович остался жить.

3 Но для чего? Зачем вообще люди живут?

Этот рано или поздно встающий перед каждым человеком вопрос посетил Ивана Ивановича в возрасте весьма и весьма почтенном. Доселе он не задумывался над ним. А когда задумался, то первый, скороспелый ответ, как и у большинства людей, был по-школьному прост: люди живут для того, чтобы жить. Многие люди, видимо, опасаясь дать простор мысли, преспокойно довольствовались этим выводом, хотя жить ради жизни можно было только в том случае, если б она состояла из одной радости и ничем не омрачаемого счастья. А для скольких людей, которых с младенчества преследовали неизлечимые болезни, она была непрерывной мукой и страданием! Но если допустить, что люди живут все же ради жизни, тогда зачем они умирают? Не значит ли, что люди живут для смерти? Желая продлить жизнь, люди заботились о своем здоровье, лечились у врачей либо прибегали к услугам колдунов и экстрасенсов, питались по диете, соблюдали режим... И все-таки умирали.

Яркой иллюстрацией жизни ради жизни, для бесконечного продления череды рождений, была жизнь природы, животных, растений. Но человек стоял выше этой биологической цепи. Животные не помнили своих предков, у них не было истории.

Быть может, люди живут для того, чтобы оставить свой след на земле? Умирая, они продолжают жить в своих делах, сохраняется память о них.

В ближайшую субботу Иван Иванович отмечал свой день рождения. Уже много лет онправлял этот празд-

ник в узком семейном кругу, то есть вдвоем с женой. Одни его друзья скончались, другие, нерасчетливо употребляя спиртное, приобрели хронические недуги и пили только соки да кефир, а третья потерялись на неровной жизненной дороге.

Купив по случаю праздника пять бутылок пива и остудив его в холодильнике, Иван Иванович пообедал с женой, чмокнул ее в морщинистую щеку и, расположившись на балконе в кресле, потягивал из красивого хрустального бокала пиво.

Его ослепила длинная и резкая, как вспышка электросварки, искра. Иван Иванович моргнул, потер глаза, с беспокойством созерцая, как воздух, этот безвидный океан, в котором беспрепятственно реяли и парили птицы, огустевал в исполинский — от крутизны небосвода до плоскости земли — кристалл. В чисто-прозрачном теле кристалла шевельнулись очертания каких-то бледных теней и вдруг отлились в безмерные, уходящие к дальней кромке горизонта людские шеренги. Шеренги дрогнули и — пошли.

Тут были степенные, в благородных сединах старцы, рядом с которыми влеклись иссохшие, перестрадавшие за свою жизнь не одну человеческую судьбу старухи. Меж них вились шаловливые дети, едва пригубившие волшебного напитка жизни и уже покинувшие убранный яствами стол. Шли задорные отроки, жаждущие познать весь мир, легко выступали мечтатели-юноши, гордо шествовали величавые матроны.

Шагали скромные, трудолюбивые земледельцы и важные государственные мужи, храбрые воины и думовитые философы, смиренные нищие и переменчивые актеры, неутомимые мастеровые и вдохновенные поэты, мрачные чародеи и взбалмошные, порочные красотки...

Перед Иваном Ивановичем текли неисчислимые сонмы некогда живших на земле людей. С балкона, как с потаенного наблюдательного пункта, он наглядно видел, как врастает в человеческой жизни одно поколение в другое, как стариков сменяют деятельные, полные сил мужчины, а им на смену уже поспевает пылкая молодежь. Печать молчания лежала на устах шагавших. Неприютная для земного человека тишина царила на этом полуденном смотре. И поверх колеблющейся равнинны людских голов изредка, то над благообразным челом старика, то над косичками печальной девочки, то над светлой головкой ребенка, единично вздымались огненные язычки. Этим людям суждено было оставить свой след на земле.

— Боже, как мало! — прошептал Иван Иванович.

Имена людей, оставивших по себе память, при желании можно уместить в одну большую книгу, но никакие книги не вместят имена всех людей, когда-либо увидевших солнце. Известно, кто спроектировал прекрасное старинное здание, кто рассчитал и построил мост через реку, кто написал книгу или сложил песню. А те, кто каждый год засевает поля, кто водит машины

и поезда, лечит больных, воспитывает детей, защищает страну? От них не остается явного следа, но разве эти люди не жили? Да сам он, Иван Иванович, что совершил такого, что переживет его хотя бы на десятилетие? Бухгалтерские отчеты берегутся какое-то число лет, затем списываются в макулатуру, машина на фабрике истолчет их в бумажную кашицу, и разве не окажется, что вся его жизнь — такая кашица? Но это же неправда!

И в то же время от человека порой ничего не зависело, пожелай он оставить по себе след. Иной деятель всю жизнь искал славы, добивался ее, работал не покладая рук, хитрил, изворачивался, предавал друзей, бросал жену, шел на все мыслимые подлости и ухищрения — и умирал во цвете лет от рака желудка, ничего не добившись, не понятый, не признанный и тут же забытый. Другой, напротив, вел праведную, достойную жизнь, но и его постигала та же участь: жизнь его высыпалась в отвал, как пустая порода. И был третий — прирожденный удачник, которого слава стерегла уже у его колыбели. Единственным трудом для него было родиться. Он рождался и шел по жизни, как радостный белокурый гений, осиянный светом славы, охотно делящийся ею с каждым встречным-поперечным. Он возвещал людям музыку бытия, он сам был частицей этой музыки. Он умирал, и человечество еще долго помнило о нем, как о существе высшей, неземной породы. А ведь был он таким же человеком, как и все.

С крахом теории своего следа на земле рушились все родственные ей теории. Теория жизни для собственных детей, для государства, для будущих поколений. Последняя вообще низводила человека до уровня навоза на всемирном огороде истории. Фальшивее заключалась в том, что постоянного улучшения жизни не было, не раз в ней случались такие повороты, когда потомки жили хуже, подлеи своих предков, когда, поддавшись, обману, люди предавали завоеванную в боях славу, а нажитое трудами нескольких поколений богатство спускали за бесценок в погоне за наслаждениями. Невинные девушки, отвергая долг материнства, мечтали о карьере знаменитой проститутки, а молодые парни, соблазненные возможностью легкой поживы, стремились в воры и разбойники. Матери продавали своих детей ради призрака привольной жизни, а отцы, махнув на все рукой, пускались в безудержное пьянство... Одним из частных случаев теории следа на земле была теория бессмертия человечества. Умирали люди и государства, но жило человечество. Однако какая была утеша ему, конкретному человеку, с его единственной, неповторимой жизнью, в этом коллективном, стадном бессмертии? Точно так же ведь были бессмертны собаки и кошки, лопухи и крапива. Чем глубже осмысливал Иван Иванович вставшую перед ним проблему, тем очевидней становилось, что тропинка мысли ведет его в тупик. Последовательно-логическая теория смысла жизни не выстраивалась. Как ни крути, получалось, что жизнь бессмысленна.

Заболевшую от непосильных дум старую голову Ивана Ивановича осенила счастливая идея. Разве не думали другие люди о тех вопросах, которые одолевают его? Конечно, думали, и умнейшие люди — философы, мудрецы. Так не проще ли обратиться за ответом к книгам?

В юности Иван Иванович много читал. Круг интересов его простирался от художественной классики до фантастики и детективов. Суeta семейной жизни оставляла мало времени для чтения. По правде сказать, и лень-матушка была тому причиной, что со временем он променял книги на стадион и вечерний телевизор с привычным бокалом пивка.

Не без трепета и смущенного волнения переступил он снова порог библиотеки.

Молодая женщина, ведавшая записью в храм знаний, не выказав удивления по поводу возраста престарелого читателя (чего Иван Иванович робко побаивался), равнодушно переписала его паспортные сведения и, не подняв головы, ткнула ему читательским билетом куда-то в живот. Иван Иванович, смекнув, в чем дело, поскорее убрался из комнаты.

Вначале предстояло решить задачу: с чего начать? Та философия, которую ему вдалбливали в школе, на политзанятиях в армии и на высших бухгалтерских курсах, не удовлетворяла его. Она была примитивно прямолинейна. Новое отрицает старое, количество переходит

в качестве, бытие определяет сознание, партия — наш рулевой, и вперед к победе коммунизма! О чем тут думать, чем мучиться, когда все порезано и разложено на одинаковые порции, как в солдатской столовой? А Иван Иванович при своем малом домашнем стаже философствования дошел своим умом, что в жизни далеко не все так укладисто просто. Железные категории единственно верного, а потому и всесильного учения срабатывают не всегда и не все объясняют.

По совету дежурного библиографа, он взялся сперва за учебники по философии и облегченные, популярные изложения буржуазных философских учений.

Язык этих книг оказался для него сродни китайской грамоте. Понадобилось срочно завести блокнот, заполнявшийся новыми словами: детерминизм, экзистенциальный, онтологический, телеологический, гносеологический, индукция и дедукция, ноумен и феномен, имманентный, трансцендентальный, метафизический, субстанция, энтелехия и другие. Нерасставаясь со словариком, Иван Иванович зубрил научные термины утром за завтраком, в автобусе, в магазинных очередях, обедая в библиотечном буфете, перед сном и даже ночью, проснувшись, как от тычка, включив торшер в изголовье кровати, лихорадочно листал обтрепавшиеся, замусоленные страницы, отыскивая значение приснившегося слова. Но странно: когда в библиотеке он подставлял значения слов в текст, из них порой сплеталась такая несуразная абракадабра, что мозг наотрез

отказывался воспринимать ее. Текст мутнел, расплывался перед глазами, а Иван Иванович засыпал над книгой, сочно похрапывая. Хохотушки студенточки прикосновением своих тонких пальчиков с улыбочкой будили его.

Невзирая на трудности, Иван Иванович героически штурмовал одну книгу за другой, приступив к освоению первоисточников. От заграничных имен Гегеля и Шопенгауэра, Сартра и Хайдеггера, Ясперса и Кьеркегора к сердцу подкатывала неодолимая тоска, а тут открыли шлюзы и вскипел вал своих, десятилетиями не издававшихся мыслителей: Бердяев и Розанов, Ильин и Карсавин, Лопатин и Флоренский. А еще нетронуты Сигер Брабантский, Фихте, Монтескье, Вольтер, Шеллинг... Господи, да сколько же их всех было!

Жена, напуганная диковатым блеском, появившимся в глазах мужа, его похудевшим, осунувшимся лицом, вздыхала:

— Ты бы, Ванечка, отдохнул. Не молодой так надсажаться. Чего тебе эти книжки дались? Выпей лучше пивка да приляг, отдохни.

Иван Иванович и сам чувствовал, что переутомился, а остановиться не мог, упрямая воля была сильней рассудка, и он, как шахтер-стахановец в забой, к десяти утра одним из первых исправно являлся в библиотеку.

Но когда на исходе одной ночи к нему, истерзанному сердечными и головными болями, заглянул на «огонек» подгулявший философ из Кенигсберга в обнимку

с Еленой Блаватской, Иван Иванович с холодком понял: недалеко до беды, пора бить отбой. Видать, не для пенсионерских мозгов восхождение на высящуюся перед ним гору. Начинать карабкаться на эти кручи нужно было в юные годы. Не линовать простины бухгалтерских отчетов, а штудировать тяжеловесные тома.

А кто бы кормил его тогда и содержал семью? И хотя бы он посвятил этому восхождению всю жизнь, кто гарантирует ему, что там, на вершине книжного знания, не обнаружится такой же изъян, как в теории следа жизни. Если окинуть взглядом сверху философские теории, то в каждой из них (даже во враждебных, противоречащих одна другой) можно было сыскать близкие, родственные черты; подспудно, дальними отзывками мыслей теории переяликались друг с другом. Одна философская система порождала другую, отпочковываясь от нее, как побег от ветви.

Иван Иванович с сожалением провел последний вечер в читальном зале, попрощался с сотрудниками, привыкшими к чудаковатому старику, и навсегда покинул библиотеку.

С месяц он ходил грустный, вспоминая о тех счастливых днях, когда он жил заурядной жизнью рядового пенсионера, ни о чем особом не размышляя и ничего ни за кем не замечая. Для чего пробудилась в нем эта способность думать, обратившаяся в страсть? Насколько легче и проще жилось ему в привычном мирке укороченных, квартирных мыслей.

И все же умственная работа, волевые бдения над книгами принесли свой благой плод. Не отрекаясь от своего самого важного открытия, Иван Иванович перестал бояться людей и осуждать их. Добродушная, снисходительная терпимость появилась в нем. Как знать, может, иные люди и не виноваты в своей мертвости?

## 5

Взамен старого, треснувшего в тот роковой день унитаза Елизавета Евгеньевна после долгих поисков купила новый — импортный, приятного сиреневого цвета. Обливаясь потом, с пересадками с троллейбуса на автобус, а затем пешком Иван Иванович доставил его домой. Хмельной сантехник из ЖЭКа поставил унитаз на место, прикрепил болтами, обмазал раствором и, порядком насыпнячив, ушел с заработанной поллитрой в кармане.

В уборной можно было навести порядок за десять минут, но Елизавета Евгеньевна, возбужденная и обрадованная обновкой, решила устроить генеральную уборку во всей квартире, а чтобы меланхоличный Иван Иванович не мешал ей и они не действовали друг другу на нервы, ласково убедила его съездить в лес за малиной, которая, как известно, лучшее лекарство при простуде. Его попутчиком или, вернее, наставником она уговорила поехать своего двоюродного брата, завзятого грибника и ягодника.

Пригородный поезд, в будний день почти пустой, привез их на небольшую станцию. В полдень они вышли к малиннику.

Обжигаясь крапивой, отгоняя назойливо зудевших оводов и слепней, перекликаясь редкими «ау!» со своим, Иван Иванович собирал красные, сладкие ягоды.

Когда-то, очень давно, в далеком детстве, он с друзьями мальчишками так же ходил по малину. Весь день они плутали по лесу, уморились, ягод набрали мало, угодили под холодный проливной дождь и уже ввечеру чуть живые от усталости, продрогшие, голодные брали домой. Как ни томил его голод, Ваня терпел, хоть по примеру товарищей и брал иногда из тарки одну малинку, другую. У самого дома его пальцы коснулись дна. Всю дорогу он мечтал угостить родителей — инвалида-отца и часто болевшую мать — не покупной, базарной, а им собранной, лесной малиной. Донес же до дома всего горсточку давленных, мятых ягодок. Мать упрекнула его, он заплакал, убежал в чуланку, где ночевал летом.

Иван Иванович стряхнул с ресниц слезу. Сейчас бы он уладил дорогих стариков целым ведром свежих, отборных ягод, но — увы, об этом можно было лишь горестно помечтать.

Согрев на костре чая, ягодники перекусили, залили огонь водой из ручья и пустились в обратный путь.

Луг переходил в крутой косогор. Под ногой проалело какое-то пятнышко. Иван Иванович нагнулся и обомлел: в зеленой, спутанной густоте стеблей трав, стелю-

шихся листьев, в переплетении тонких былинок там и тут мелькали овально-крупные, как бусины, багровые ягоды земляники.

— Николай, — окликнул Иван Иванович свояка, — глянь, что тут есть!

Вернувшийся свояк прямо обезумел от такого изобилия. Упав на колени, он рвал землянику горстями, набивая ее в пакет вместе с листьями.

— Не жадничай, — посмеивался Иван Иванович, — хватит на всех.

— При чем тут «не жадничай», — ворчал свояк. — На поезд опоздаем, еще идти сколько.

Набрав стеклянную литровую банку ягод и завинтив ее крышкой, Иван Иванович прилег в тени тонкой елочки. То-то Лиза обрадуется луговому гостинцу. Давно он не дарил ей подарков. Конечно, что-то покупал и вручал к 8 марта, ко дню рождения, но чтобы просто так, от души, от того, что она мила и близка ему, такого не бывало давно. Воспоминание о родителях шевельнуло какие-то струнки в душе, и ему захотелось возвратить долг добра, который он задолжал им. Ведь жена и по природе своей была сходна с матерью, а чем старее становились они, тем это сходство делалось ближе.

Солнце клонилось к закату. Воздух дрожал от стрекота кузнечиков. Аромат горячей еловой хвои навевал древние, невнятные воспоминания. Прикрыв глаза, Иван Иванович дышал этим смолистым запахом, как будто дышал своей жизнью.

В травяном ковре, устилавшем сверху донизу земляничный косогор, обозначилось темное отверстие, из которого, колеблясь, истекала размычено-бледная полоса тумана. Откуда мог взяться туман в такую жару?! Ах! Ну конечно же, это были дети! Из пещеры посредине холма вереницей выходили дети; их светлые льняные головки и создавали впечатление белеющего тумана.

Дети топали босыми ножками по траве, рассыпаясь беззаботным смехом, срывали на ходу землянику, совершали один виток вокруг холма, другой, третий... Где-то там поток раздваивался. Одна часть его тонкой ленточкой продолжала куриться к сливавшейся с небом вершине, которую венчала странная лесенка, напоминавшая трехдольный церковный крест. Другая часть потока катилась по широкому подножью холма вниз, пропадая в глубоком, темном овраге...

Значит, те периодические умирания вовсе не были прихотливой выдумкой его ума. Из них, как из маленьких смертей, лепился ком вечной смерти. Но тогда, несомненно...

— Подъем! — дурачясь, гаркнул ему прямо в ухо свояк.

Иван Иванович, затрепетав (так испугали его звуки человеческого голоса), пробудился и какое-то время не мог понять, где он, как очутился здесь и почему лежит на траве.

— Вставай, Ванёк, вставай, — дружелюбно тормошил его Николай. — Дома спать будешь.

На пути до станции Николай, человек нрава шумливого, компанейского, неотвязно вызывал Иван Ивановича на разговор. Тот отмалчивался, сославшись на усталость.

— В другой раз поезжай один, — рассердился Николай.

А Иван Иванович был занят важным делом: прокручивал назад ленту жизни в поисках того момента, когда жизнь разделилась и он вместо восхождения на вершину потек в подземную трещину.

На последних тридцати годах можно было не задерживаться, разделение произошло не здесь, но воспоминания, не спрашивая, приходили сами. Однажды он умер после того, как нашел оброненный кем-то кошелек. Там были паспорт, пропуск в учреждение и — много денег. Он возвращался с вечеринки веселенький, в блаженном подпитии и подумал еще: во, повезло! Прошли годы, деньги давно истратились, и сейчас было невыразимо стыдно, за какую грошовую сумму он согласился умереть, правда, сам тогда не зная об этом.

Поезд на станции, куда они прибежали запыхавшиеся, готовился отправляться. Высунувшийся из кабинки машинист дал длинный гудок. Зажегся зеленый глаз выходного семафора.

Проводница не пускала их в вагон.

— Без билетов — и не мечтайте.

— Мы у вас билеты купим, — хором предложили Иван Иванович и Николай.

— Еще чего. Касса на это есть.

— Не успеем мы в кассу, поезд уйдет.

— Это ваши проблемы. Ничего не знаю, — тупо поглядывая вбок из-под форменного берета, долдонила проводница.

— Какого ж дьяволаты тут отсвечиваешь, коль ничего не знаешь, — взъярился свойк.

Иван Иванович не дал ему расшуметься, без труда сообразив, с кем они имеют дело.

— Держи! — он подал Николаю рюкзак и припустил через рельсы.

Колеса состава, стально скрипнув, совершили первый трудный оборот, другой, прибавляя, завернули на третий, когда Иван Иванович выскоцил на перрон с билетами над головой.

## 6

## — Купил! Купил!

С таблеткой валидола под языком, навалившись затылком на подголовник вагонного кресла, Иван Иванович углубился в воспоминания.

В зрелые годы он умер в день приема в партию. Секретарь парторганизации спросил, зачем вступает в ряды КПСС? Он соврал: «Чтобы строить коммунизм» (а вправду, чтоб получить место главбуха, которое ему так и не досталось). Секретарь знал, что он врет, и Иван Иванович знал, что секретарь это знает. Но один

обязан был об этом спросить, а другой был обязан именно так ответить.

Чем скорей молодели воспоминания, тем длиннее были промежутки между умираниями. В армии, к примеру, он умер только раз. Их, мешковато обмундированных робких парней, привезли в казарму, построили в одну шеренгу. Когда старшина зычно рявкнул: «Ровняйся! Мыр-р-рно!» — и, грохнув каблучищами сапог, повернулся для доклада к ротному командиру, в этот миг Иван Иванович умер. Потом привык, втянулся, солдатская жизнь побежала своим характерным ходом и к концу службы даже полюбилась ему.

Воспоминания подгоняли друг друга. Вспомнив первое счастливое время после женитьбы и сравнивая его с годами семейной маэты — заначками от жены, привычным унылым враньем, глухой многолетней отчужденностью, Иван Иванович увидел, что нельзя все сваливать на сварливый, скопидомный характер жены. Они были поровну виноваты друг перед другом. Вдохновенная, молодая любовь выродилась в обряд совместного питания, обязательных супружеских встреч, как вырождается и хиреет задушенный сорняками когда-то ароматный и прекрасный цветок. Любовь не умерла, она была жива, только нужно было вернуть ее.

Годы юности бежали бурным, весенным ручьем. Умерев на партсобрании, Иван Иванович ожидал, что по аналогии умрет в день приема в комсомол и пионеры. Этого не произошло. По прошествии полувека те

дни, конечно, не вызывали в душе прежнего восторга, но и умирать из-за них не было никакой причины.

За десять лет учёбы в школе он умер дважды. Когда слишком разрезал бритвой куртку одному мальчишке, который обижал его, а подраться с ним, дать ему сдачи у Вани не хватало смелости. И еще он поставил из озорства подножку совсем незнакомой девочке, бежавшей по коридору. Она упала и сломала себе руку. Иван Иванович с болью вспомнил ее жалобный крик и слезы.

Еще одна оказия случилась с ним в детском саду. Затем потянулась светлая полоса неумирания. Казалось, она была длиннее всей последовавшей за нею жизни.

## 7

Приехав в город, Иван Иванович прощался с попутчиком, поблагодарил его за поездку и направился домой.

Со временем привыкнув наблюдать не только за людьми, но и за собой, Иван Иванович на кратком пути до дома (а жил он в десяти минутах хода от вокзала) заметил, что в радости от впечатлений нынешнего удивительного дня чего-то не достает, не хватает, чтобы радость была полной. Если б Иван Иванович умел петь, он бы сравнил свое ощущение с недопетой песней, когда певцу, уж было собравшемуся излить в неж-

нейших нотах свою душу, приходится вопреки желанию замолчать. Иван Иванович, однако, дара пения был лишен, и смутное чувство недовольства исподволь отравляло душу.

Лишь оказавшись во дворе своего дома под сенью цветущих лип, вдохнув их веющего, желтовато-мягкого аромата, в памяти Ивана Ивановича вдруг воскрес знойный, звенящий жизнью луг. Мысль, рассеченная грубым вскриком свояка, ожила, сливаясь в единое целое, отстраняя смуту и недовольство.

Да, мировой закон неразделимых единств нарушить было нельзя: тьму сменял свет, отчаянию противостояла надежда, и коль скоро из малых смертей-умираний создавалась большая смерть, то побеждавшая небытие вечная жизнь, очевидно, вырастала из крупинок новых рождений. А каждое такое рождение немыслимо было без детского чувства в душе. Недаром же сказано: будьте на злое как дети.

Снова его ожидала серьезная работа — еще раз перебрать год за годом всю жизнь. Конечно, укоры совести горше похвал и резче отпечатываются на сердце, но ведь не может того быть, чтобы он всегда только умирал. Неужели ни разу он не рождался вновь и не числится ли за ним ни одного доброго дела?

Вот знакомый подъезд. Дверь на пятом этаже, обитая гвоздиками с фигурными шляпками. Трель звонка и близкий голос жены:

— Кто там?

— Юный натуралист, — ответил Иван Иванович. Услышав засмеявшуюся в прихожей Елизавету Евгеньевну, он скорее развязывал рюкзак, вынимая из него банку с земляникой. — Смотри, радость моя, что я привез тебе.

# Содержание

Родной город	5
--------------	---

## **И в жизнь вечную...** **27**

■ Глава первая	29
■ Глава вторая	36
■ Глава третья	43
■ Глава четвертая	55
■ Глава пятая	59
■ Глава шестая	67
■ Глава седьмая	72
■ Глава восьмая	79
■ Глава девятая	84
■ Глава десятая	90
■ Эпилог	97

## **Венчание** **88**

## **Рассказы** **185**

■ Царицына внучка	197
■ Иван Иванович — мыслитель на пенсии	207